

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

- Юрий Козлов**
«Птицы певчие и ловчие» 3
- Иван Аксенов**
«Туманные звезды Кассиопеи» ...55
- Екатерина Полумискова**
«Испанские сны
Луиса Мартинеса»109
- Андрей Тимофеев**
«Нина»146
- Лилия Жидкова**
Клуб «Двадцать восемь петель» .. 191



*Литературное
Ставрополье
№ 1 (2024)*

ПОЭЗИЯ

- Тамара Лангуева**
Стихотворения 96
- Олег Воропаев**
Стихотворения103
- Олег Игнатьев**
Стихотворения 175
- Оксана Крис**
Стихотворения 274

КРАЕВЕДЕНИЕ

- Николай Блохин**
«Бой в Овражном»
Документальная повесть 211
- Роман Нутрихин**
«Минин, Пожарский и тайны
ставропольского интенданства»..276



Главный редактор
Владимир Бутенко

© Правительство
Ставропольского края

УДК 821.161.1(470.630)-8
ББК 84(2-411.2)64
Л 64

Редакционная коллегия:

И. Аксенов, Н. Блохин, О. Воропаев,
Е. Гончарова, А. Куприн, Е. Полумискова,
С. Скрипаль

Литературное Ставрополье. Альманах № 1
Л 64 (2024). – Воронеж: ООО «Славянская Типография»,
2024. – 300 с.
ISBN 978-5-6052245-3-2

УДК 821.161.1(470.630)-8
ББК 84(2-411.2)64

Адрес редакции:

355033, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 78.
Тел. (8652) 26-31-50

Рукописи не рецензируются
и не возвращаются

ISBN 978-5-6052245-3-2

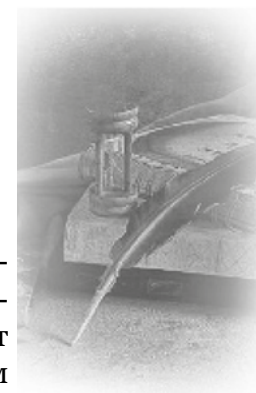


9 785605 224532 >

ПТИЦЫ ПЕВЧИЕ И ЛОВЧИЕ

(фрагмент из романа
«Слепой трамвай»)

Она всегда с восторгом и трепетом входила в Александровский сад. Вытянувший хвост конь с маршалом Жуковым на спине казался в сумерках пластилиновым и необъяснимо подвижным. Некая непрояснённая присутствовала в памятнике, как и в значении всадника для истории России. Да, решителен, да, строг, да брил до масляного блеска голову, смотрел зверем на подчинённых, воевал умением, но иногда и числом. Из народа. Обучался скорняжьему делу, разбирался в мехах и тканях, георгиевский кавалер в Первую мировую, отогнал японцев от Халхин-гола, спас Москву, взял Берлин. Но причём здесь километровые отрезки трофейного сукна, столовое серебро, пейзажи Лукаса Кранаха, старинные клавесины и мейсенский фарфор? Зачем



**Юрий
КОЗЛОВ**

Проза



принял в пятьдесят шестом сторону Хрущёва, когда испытанные сталинские соратники собирались того сместить? Хрущёв развенчал Сталина, расстрелял успешно руководившего атомным проектом Берия, колотил по столу ботинком в ООН, сокращал вооружённые силы, резал линкоры, насаждал кукурузу. А ещё рвался показать народу последнего попа, закопать капитализм и построить коммунизм к 1980 году. Оставшись при власти, разогнав сталинских орлов, Хрущёв не пощадил и плотного, влитого, как крепкая настойка в плечистый графин, в мундир с орденами, маршала – снял с должности министра обороны, законопатил, как паука, на даче.

У Ангелины Иосифовны не было ясности относительно этих персонажей, как и, вообще, советской истории. Ясность была у застукавшего её на складе за неблаговидным занятием советского директора аптеки, сидевшего в кабинете под портретом Ленина. Но это была не подтверждённая бесстрастной логикой ясность, а суровая вера. Всякую веру можно уподобить биноклю. Человек смотрит в него и что-то видит с нечеловеческой чёткостью, да ещё и в пространственно-временной перспективе (как красный аптечный директор перестройку и то, что за ней последовало), а что-то не видит в упор, как будто этого не существует. Вряд ли бывший начальник ответил бы на два давно занимающие её вопроса. Почему во все годы существования СССР в его руководстве, особенно по линии государственной безопасности, было столько предателей и шпионов? Даже

на счёт строгого, смотревшего с казённых портретов загадочной Моной Лизой, Андропова сейчас высказывались разные предположения. Мол, не просто так он опекал и двигал к власти Горбачёва, далеко (только не в ту сторону) смотрел. И каким образом, если во власти было столько предателей, Советский Союз просуществовал почти восемьдесят лет, победил Гитлера, отправил человека в космос, а в небытие ушёл в статусе мировой сверхдержавы, контролировавшей полмира и способной многократно уничтожить оставшуюся половину? Хотя на этот вопрос молодой ленинист бы ответил. Потому и просуществовал, что идея была сильнее (превыше) как предателей, так и её толкователей, вроде засохшего на корню идеолога КПСС Суслова. Но это тоже из области веры. А где же тогда были восемнадцать миллионов коммунистов в 1991 году, поинтересовалась бы у него сейчас Ангелина Иосифовна, неужели все оказались предателями? Если так, продолжила мысленный разговор с бывшим начальником, значит предательство, а не технический прогресс и смена общественно-экономических формаций движущая сила истории?

Ишь, как меня занесло, вздохнула она, хотя о чём ещё можно думать на Красной площади под хвостом у коня Жукова?

В тёмных, скупо освещённых аллеях Александровского сада, в сухом шелесте ветра, в отблесках фонарей на газонах и пешеходных дорожках, как «ванька» под досками на чердаке, фантомно

доживал свой век СССР. Его призрак летал над кремлёвскими стенами, бетонным дворцом партийных съездов, жёлтыми служебными корпусами. Непостижимый СССР вознёс Жукова к славе, а потом вдруг неблагородно прищемил на вершине, вынудил вспомнить в мемуарах неведомого тогдадвигающему фронтами маршалу подполковника Брежнева из дивизионного политотдела. Чуткая в отречении от СССР новая Россия издевательски посадила маршала на длинного с непонятым хвостом коня, геморройно подняла в стремянах, нарушив классические каноны конных статуй.

Ангелина Иосифовна снова вспомнила подслушанный в «Кафке» разговор Пети и зонтичного рокера. Запомни, сказал Пете рокер, ритмично тыча в пол железным концом зонта, в России всё зыбко и темно, всё плывёт, как в тумане. Особенно власть. Помнишь, старик в рассказе Хемингуэя хотел туда, где чисто и светло. В России таких мест нет! Везде грязно и холодно, и в хижинах и во дворцах! Есть два светильника, два скребка – Владимир Святой, варианты – Иван Грозный, Пётр Первый, Иосиф Сталин – и нынешний правитель. Между ними – зона рискованного исторического земледелия, в смысле, произрастания разумного, доброго, вечного. Но и этими светильниками тьму не развеешь, грязь не уберёшь, холод не прогонишь. Разве что денюжат срубить, если встрочишь-ся. Ты, как я понял, меняешь коней на переправе?

Вот так, подумала Ангелина Иосифовна, проклятый вирус везде, даже в истории России. Чем и как лечить её? В жёлтом свете фонарей летучими мышами металась жёлтые листья. Они опускались на землю и ползли дальше панголинами. Она давно заметила, что вблизи Кремля лекарственная атмосфера дополняется двумя едкими нелекарственными ингредиентами – предательством и обманом. Раньше она брезгливо не обращала на это внимания, гнала мимо носа, но сегодня нос, как в рассказе Гоголя, обрёл горделивую незалежность. Клиническая картина представилась Ангелине Иосифовне неутешительной. Ей вспомнилось изречение: «Религия – опиум для народа». В советское время оно плакатно укрепляло веру атеистов в то, что бога нет. Но опиум при соответствующей дозировке был обезболивающим средством, то есть лекарством. Неужели предательство, обман и воровство – вечные обезболивающие нейрорептики, подумала Ангелина Иосифовна, прикрыв нос ладонью. По мощам и елей, будто бы заметил мучимый большевиками патриарх Сергей, когда ему сообщили, что Мавзолей подтопили канализационные воды. По народу и лекарство, продолжила мысль святого мученика Ангелина Иосифовна. Потеря памяти, как электрошок. Нет памяти – нет былого величия, нет обмана и предательства, а главное, нет имущества, того, что раньше называлось общенародной собственностью. Ищи-свищи, народ!

Царицей всего на свете была смерть. Стоило ей только появиться на советской границе двадцать второго июня сорок первого года в образе вермахта, и народ тут же каменно окреп без всяких лекарств, скорняк превратился в маршала, смерть победила смерть, смертью смерть поправ. Стоило ей отвлечься, задремать, подобно древнегреческому козлоногому Пану в тупой неге «развитого» застоя, как лиса Алиса (предательство) и кот Базилио (обман) под разговоры о дереве с золотыми монетами похитили у хозяйки затупившуюся косу. Хотя, затупившуюся ли? Ангелина Иосифовна читала в газетах, что в девяностые и следующие годы Россия потеряла едва ли не столько же людей, сколько в Великую Отечественную войну, на которой отличился посаженный на неладно скроенного коня маршал Жуков. Выходило, коса косила, да не в ту сторону. Не за победу, а за поражение от самих себя.

Смерть, конечно, царица, посмотрела в небо Ангелина Иосифовна, но даже ей не одолеть такие побочки, как обман, воровство и предательство.

Кружащиеся над Александровским садом жёлтые листья, как пересохшие рты слизывали последние капли мерцающей в неверном фонарном свете жизневоды. Что мне до политики, до власти, до государства, пожалала плечами Ангелина Иосифовна, их вода высоко, где серебряные облака и сухие грозы. Моя вода... где?

Золотая пыльца превратилась в пыль у бетонной стены, под которой свивались в клубки чёрные змейки. Ангелина Иосифовна даже обра-

довалась, заметив Петю в подземном переходе возле метро «Библиотека имени Ленина» с симпатичной женщиной, определённо моложе его. Сама библиотека уже очистилась от Ленина, называлась «Всероссийская государственная», но станция пока не отрелась от проводившего немало времени в библиотеках вождя мирового пролетариата. Пусть живёт, как хочет, подумала про Петю Ангелина Иосифовна, непроизвольно измерив запас жизневоды над его головой. Или... остановилась, глядя в спину удаляющейся паре, как она хочет?

Жизневода была ключевым элементом в периодической системе краткого человеческого существования. Внутри неё человек расцветал, как тюльпан на клумбе, тянулся к солнцу, блаженствовал в согретых струях беззаботным моллюском. Почему-то именно с запрятым в раковину пупырчатым моллюском сравнивала обобщённого, существующего исключительно в её воображении человека Ангелина Иосифовна. Государство она уподобляла атмосферному столбу, не до смерти придавливающему моллюска. Чем мудрее и менее подверженной непереносимым порокам была власть, тем переносимее был (давил) столб, тем веселее ходил по дну головоногий (это определение годилось и для моллюсков, и для людей). Во времена спокойствия двуединая сущность воображала себя царём подводного царства, наслаждаясь растворённой в жизневоде благодатью и обманчивой крепостью раковины.

«Рабствовала в тишине», как угрюмо, но честно писал историк Карамзин. Функцию благодати исполняли деньги и власть, всегда обнаруживающие склонность к соединению в одном флаконе, как в опостылевшей телевизионной рекламе девяностых годов шампуня с кондиционером.

Иному счастливцу жизневода подыгрывала, как режиссёр своему актёру. Долго терпела его выходки, но в один прекрасный момент, когда ухватившему бога за бороду наглецу казалось, что всё на мази и жизнь удалась, объявляла: роль сыграна, ты уволен! При этом актёр видел, что многие его коллеги, причём гораздо старше по возрасту, оставались на сцене, играли кто Гамлета, кто Дон Кихота, кто – «Кушать подано». Зрители рассаживались в партере и бельэтаже, посверкивали из лож биноклями, стояли в очереди в билетные кассы, ругались с неторопливыми гардеробщицами. Жизневода никогда не отвечала на вопрос: «Почему я?», оставляя переходящему из труппы в (хорошо, если живые) труппы актёру искать ответ самостоятельно. Театр, где она служила режиссёром, был многолик, начинался с вешалки и вешалкой же заканчивался. Ни одно пальто не висело в нём вечно.

Голому (народному) моллюску было нечего оставлять на выходе. У него вместо пальто была слизь. Да и ту государство периодически соскабливало дефолтами, инфляцией, оптимизацией то школ, то больниц. А вот сановно-денежно-властному собрату, заматеревшему в перламутре, нашившему на пальто жемчужных пуговиц,

подпоясавшемуся золотым кушаком, было невыносимо расставаться с добром, уходить в нематериальное небытие. Возможно, в будущем жизневоде предстояло превратиться в товар, но пока она сверх лимита не отпускалась. В мире менялось всё за исключением продолжительности человеческой жизни. В России, к примеру, редко кто из мужиков дотягивал до возраста Платона, жившего до нашей эры, или Омара Хайяма, жившего тысячу лет назад. Ангелине Иосифовне был известен лишь один лимитчик – Вечный Жид, разных дел мастер, не позволивший несущему на Голгофу крест, оплёвываемому и побиваемому Христу присесть на лавке возле своей мастерской, где он то ли чинил обувь, то ли делал ключи. Отдохнёшь на обратном пути, будто бы издевательски сказал он. Ладно, только и ты не уходи, подожди меня, ответил Иисус.

Жизневода забавлялась с головоногими, как капризный ребёнок с игрушками в детском бассейне. Для кого-то даже в момент слива оставалась щадящей и мягкой. Человек уходил как в сон. Про таких счастливцев говорили: умер, и до сих пор не знает об этом. Других – терзала избыточной жёсткостью, как библейского Иова, волокла в сливную дыру по острым камням. Уровень жизневоды над той или иной головой был величиной неуловимой, если не сказать, несуществующей. Архимедовы законы тут не действовали. Вода сама сочиняла законы, как хотела меняла собственную формулу. Это знали ветхозаветные люди. Дай отведать от вод Твоих, просили

они у своего безымянного Бога. И тот поил их, когда сладкой, когда горькой (в зависимости от их поведения и собственного настроения) водой.

Ангелина Иосифовна, подобно точному прибору, определяла уровень здесь и сейчас, но никоим образом не влияла на её переливы с одной головы на другую, или доливы после снятия пены, как некогда рекомендовали, раздражающие распоряжающихся за стойками пивных Афродит, привинченные к настенному кафелю (чтобы не сняли) таблички в советских пивных. Над табличками смеялись, а зря, подумала Ангелина Иосифовна, они пробуждали в народе гражданское самосознание, учили «требовать», подсказывали алгоритм, как снимать с социализма буржуазную, в конечном итоге придушившую его пену. Но народ не внял, взял сторону покрякивающих из-за стоек на мужиков Афродит. Ангелина Иосифовна вспомнила, как девочкой ходила в школу мимо пивного ларька. Один дядя там пытался скандалить из-за вставшей облаком пены, стучал по прилавку кружкой, вопрошая: «Где пиво?». Его быстро с элементами рукоприкладства отгёрли от окошка. «Товарищи, – нервно крикнул из хвоста очереди интеллигентного вида, но трясущийся человек в плаще и с портфелем, – перестаньте ругаться, вы мешаєте Зинаиде, всем нальёт!»

Случайно встретив Петю в подземном переходе возле метро «Библиотека имени Ленина», Ангелина Иосифовна обратила внимание на

изменение формулы жизневоды над его головой. Её не стало больше (это бы только обрадовало Ангелину Иосифовну), но она определённо стала мягче, точнее, нежнее, трепетнее. Незалежный нос, быстрый глаз ухватили, как стрекозу за хвост, неуловимый change. Возможно, это было как-то связано с гуляющим над Александровским садом тёплым осенним ветром. Но, может, и нет. Неужели, с грустью подумала она, я забыла, как поёт в саду души (она недавно читала чувственные рубайи Хафиза), особенно на склоне лет, птица любви? Это как старый добрый аспирин при внезапной температуре. Пока, продолжила мысль, певчая птица не обернётся ловчей, а аспирин не выйдет вместе с... потом. В жару, мелькнула неуместная, подростковая какая-то мысль, любовь и пот неразлучимы.

У неё так часто бывало. Начиналась мысль хорошо, а заканчивалась не очень. Ладно, если просто пошлостью или тупым юмором, хуже, когда совсем неприлично. Она подозревала, что именно в этом заключалась трагедия философии как науки. Философия – наука во все стороны и никуда, такое однажды пришло ей в голову определение. Одни философы гнали «никуда» вверх, где Бог и Высший Разум, другие вниз – где тело и мать сыра земля. Чтобы иметь детей, вспомнились ей бессмертные слова Чацкого из «Горя от ума», кому ж ума не доставало? Ангелина Иосифовна видела в них не сатиру, как писали в учебниках, а приговор современной цивилизации. В мире отсутствовала сила, способная соединить

(уже по Мальтусу) инстинкт размножения и силу разума.

Она не понимала, какое ей дело до философии и почему она придумывает подобные определения, но давно перестала этому удивляться. Иногда ей казалось, что у неё над головой невидимая антенна, которая ловит неизвестно чьи мысли и, как семена, бездумно пересаживает их в её скупой, неурожайный разум, где полезные злаки или трепетные цветы мгновенно дичают, превращаются в сорняки. Ангелина Иосифовна, как пел Александр Вертинский в знаменитом романсе, не знала «кому и зачем это надо».

Сверхзвуковым дроном (с некоторых пор это военное слово знали даже дети в младших классах и подготовительных группах детских садов) пронеслась над Александровским садом ночная птица, возможно, вылетевшая в сумерках из Кремля сова Минервы. Она обронила две невесомые, замеченные одной лишь Ангелиной Иосифовной пушинки. Идущим по саду редким прохожим плевать было на мудрую сову. В одной парящей в тёмном воздухе пушинке Ангелине Иосифовне почудилось отчаянье, в другой – что-то похожее на... месть. Неужели мудрость в том, что даже отчаянье наказуемо и подлежит отмщению, удивилась она. Но тогда осталось в мире хоть что-то безнаказанное?

К сожалению, в тот поздний вечер у Ангелины Иосифовны не получилось заглянуть в жизнь неводу Петинной подруги. Парочка, обнявшись,

скользнула под сень круглосуточного ларька, где продавались хот-доги с кетчупом или горчицей по выбору клиентов. Она могла подойти к ним, но что-то её остановило.

Ей снова в мельчайших подробностях (она никогда ничего не забывала) вспомнился подслушанный в «Кaufке» разговор двух приятелей. Не сказать, чтобы он её увлёк. Разговор напоминал потушенный костёр, над которым остаточное веяло жидкий дымок неотчётливой, как всё в их возрасте, до углей прогоревшей эротике.

Ангелина Иосифовна в своё время придумала специальный термин – «туманный возраст» – для обозначения часто посещающих аптеки пожилых (после пятидесяти семи, такую почему-то она провела границу) людей. Туман, внутри которого существовали особи указанного возраста, состоял из ночного кинематографа (видеть сны им было интереснее, чем жить), горьких или сладких (как божественная иудейская вода), воспоминаний. Их можно было сравнить с кусками янтаря, внутри которых застыли артефакты далёких времён – скомканные стрекозы, а то и распутившие крылья, красивые бабочки. Янтарь можно было перебирать, подносить к свету, но бабочки и стрекозы своё отлетали миллионы лет назад.

Ангелина Иосифовна сама была фанатом ночного кинематографа. В одном из сеансов старость увиделась ей в образе вонючей, торчащей из костра суковатой палки. Люди тумана существовали одновременно в режиме предстоящего

исчезновения и надежды, что суковатая палка будет тлеть долго. Контуры исчезновения смягчались в сумеречной воздушной перспективе (Леонардо да Винчи называл её сфумато), обретали (отчасти) успокаивающую всеобщность. Душа в небо, тело в землю.

Старость, как открылось ей в другом – железнодорожном – сне, была чем-то вроде тамбура между двумя вагонами. Переходить из одного в другой никто не стремился, но деваться было некуда. Собственно, Ангелине Иосифовне и самой оставался год с небольшим до перемещения в тамбур. Пятьдесят семь – она сама определила точку невозврата. Горячо поддержанное, как писали в газетах и говорили по телевизору, народом решение властей поднять привычный (советский) пенсионный возраст навсегда освежило безрадостную атмосферу тамбура ветром нищей старости. Государство прошлось кочергой по торчащим из демографического костра суковатым палкам.

В принципе Ангелина Иосифовна была готова к перемещению в тамбур и далее по расписанию (природу не обманешь), но с некоторыми оговорками.

Как жаль, думала она, что никому нет дела до моего тела. Раздеваясь в ванной, она радостно удивлялась, какое оно белое, упругое, гладкое. Как снежная горка, с которой, смеясь, скатываются на разных новомодных приспособлениях спортивные мужчины и женщины. С таким телом и...

в тамбур, в туман, в костёр, мухой в янтарь? Хотя, имелась одна закавыка, или как выражался первый, много лет поминаемый недобрым словом, президент России, «загогулина». Её лицо опережало тело на пути в тамбур. Нестареющая свежая плоть пряталась в одежде – от плеч и ниже, как в куколке. Сравнить себя с янтарной мухой она не хотела. Лицо же висело над куколкой как засохшая цветочная головка. И руки брали пример с лица, были твёрдые, костистые как черепаши когти. И ведь не сказать, чтобы Ангелина Иосифовна сильно их утруждала, особенно в последние годы. Обжигала злыми составами, да, иногда страдала от болезненных или зудящих аллергических высыпаний. Сама виновата, работала без латексных перчаток. Труд провизора тонок и строго регламентирован, хотя (в части ошибок) не идёт в сравнение с трудом врача-диагноста. Тот рискует жизнью пациента, тогда как провизор – всего лишь Вергилий (проводник) ошибочного врачебного или самого отчаявшегося больного решения. Категории «врачи-убийцы» и «у каждого доктора своё кладбище» вечные, подумала она, пока существуют болезни и лекарства.

Куда, куда ты спешишь, вопрошала Ангелина Иосифовна, глядя в «свет мой зеркальце скажи, да всю правду Расскажи» на помеченное «гречкой», расчерченное меридианами морщин лицо.

Значит, во мне опережающе стареет всё, что на виду, догадалась она, показав свет мой зеркальцу язык. С лица не... жизневоду пить! Как было

бы хорошо, усмехнулась, войти в тамбур... голой, прикрыв лицо маской, а руки перчатками. Или мне там не место? Знал бы Петя, какие ласковые и мягкие крылья тоскуют в куколке!

Совсем недавно Ангелина Иосифовна решила, что ей нет дела до того, чем занимается Петя в «туманном» тамбуре. Но теперь дело ожило, взмахнуло крыльями, как выпроставшаяся из хитиновой куколки бабочка. Она не знала, связано ли это с её странным желанием войти в тамбур обнажённой, или с чем-то иным, скрытым в дымящемся тумане.

...«Её отец, адмирал, недавно умер, – своднически вводил Петю в курс дела пожилой зонтичный рокер, – она дико переживает, вдруг вспомнит, начинает рыдать в голос, люди смотрят».

«Давно умер?»

«Да полгода назад».

«И до сих пор – в голос?»

«Наверное, сильно любила, – предположил рокер. – Он её вырастил, мать рано умерла. Они в советское время жили на Камчатке, там база атомных подводных лодок. Пожар, утечка радиации, сам как-то проскочил, а у жены лейкемия».

«А сам от чего умер?»

«Инфаркт, хотя...»

«Что?» – насторожился Петя.

«Да разное... – замялся зонтичный. – Не знаю, может она выдумывает? Или не выдумывает. Семьдесят лет – нормальный возраст для подводника. Пожил».

«Чего выдумывает?»

«Бред, – понизил голос рокер. – Что-то такое про Каспийское море, стрельбы то ли «Калибрами», то ли «Кинжалами». Будто бы что-то там пошло не так, и чуть не дали залп по Кремлю и по всем резиденциям, включая секретные ... Якобы по ошибке, напутали в программах, сбой в электронике, а может, хакеры влезли в систему спутникового наведения. Адмирал не то перехватил в последний момент, не то... В общем, или перенервничал и его хватил удар, или сам... того, как при Сталине. А может, его. Дело тёмное, лучше не лезть. Она говорит, отец восстанавливался после приступа, лечили от давления в военном госпитале. Она всё время разное говорит. К ней приходили люди, объяснили, что стрельбы в последний момент отменили, никакие «Калибры» никуда не полетели, все «Кинжалы» остались в ножнах. У адмирала ночью в палате случился инфаркт, врачи вошли утром, а он уже холодный. Она все препараты, чем лечили, что кололи, тайно переписала. Показывала другим врачам, все говорят – идеальный курс. Она не верит. Думаю, скоро успокоится. Вдовец, не следил за здоровьем, всё служба, служба. Ему год назад назначили плановое шунтирование, перенёс. Ей показали и выписку из истории болезни, и копию медицинского заключения о смерти, даже результаты вскрытия. Похороны на Ваганьковском, как положено, с оркестром, почётным караулом, залпами, орденами на подушечках, соболезнованием от министра обороны. Но она

думает, что убили. Ты бы её отвлек... Я бы тебя не вписывал, но больно уж баба хороша. От сердца отрываю».

«Она меня пошлёт!»

«Не скажи, – возразил зонтичный, – есть зацепка».

«За что?» – усмехнулся Петя.

«Адмирал зацепился, – объяснил зонтичный, – да не за что, а за тебя. Он, как говорят студенты, твой фанат. Не пропускал ни одной передачи на этом, как его... ну где ты вещал, «Радио Крейсер»».

«Это же заглушка, – удивился Петя, – на патриотическую оппозицию, слушателей не больше ста тысяч, я там такое нёс... К топору звал Русь, обрабатывал по целевой аудитории, мол, к топору-то к топору, но сейчас рано, надо подождать, до того прогнило, что само отвалится. Ужас-ужас, но без государства что? Кровавый хаос, война всех против всех! Копим силы, ждём момента, сотрудничаем с единомышленниками во власти, всё по сценарию, чтобы сидели тихо».

«Вот он и сидел тихо, мотал на ус, но дело не в этом, – недовольно уставился на фляжку, видимо, содержимое закончилось, зонтичный, – она назвала фамилию, я сказал, что мы с тобой друзья, могу познакомить, она обалдела. Так что – вперёд! Ты уже всё на «Крейсере» сказал, охнуть не надо, баба готова».

«Но почему она так думает? – спросил Петя. – Есть факты?»

«Понятия не имею, – раздражённо ответил зонтичный, – молчит. Или такое несёт, что уши вянут. Ну, – зыркнул по сторонам, – что... папе дали тайный приказ пустить «Калибр» по Карабаху, а он хотел спасти Россию, пустил, сам понимаешь куда, в общем, теория заговора, конспирологический бред».

«А за ней... не ходят?»

«Не бойся, – хмыкнул рокер. – Она только со мной на эту тему и только после. Ладно. Как-то у неё это взаимосвязано. Вспомнит про отца и... вулкан. Никто не ходит. Да кто станет следить, тратить время? Было бы хоть что-то – по башке в подъезде, и кранты, кому она нужна?»

«Ты сам-то, – покосился на друга Петя, – видел этого адмирала?»

«Только на фотографии. Советская такая ряха. В адмиралы вышел в нулевые, квартиру дали на Тверской, участок на Клязьме, дачу, правда, не успел поставить, наверное, честный. Непонятно как дослужился, у нас же кораблей почти не осталось и не выпускают никуда. В общем, от сердца отрываю бабу, хотя, есть определённые странности. Думаю, у вас с первого раза получится».

«А ты, значит, устал?»

«Двух не потяну, – признался рокер. – Ты же видел мою новую – аспирантка, двадцать пять, огонь под юбкой, только вперёд! Тянет в постель, а я – рефераты читать, никогда так много не читал, жду, пока заснёт. Да, Петя, устал, покоя сердце и... другой орган просят, а где он, покой?»

«Она что, отпустила с условием, что подыщешь замену?» – попытался налить из фляжки Петя, но фляжка была пуста.

«Какая разница, – посмотрел на часы рокер. – Дело твоё. Позвонит, скажешь, что не можешь, работы много, она поймёт».

«Работы как раз мало, – мрачно заметил Петя, – С «Крейсера»-то, суки, списали. Сказали, что где-то я то ли пережал, то ли не дождал по линии конструктивного патриотизма, концов не найти, с эфира сняли, деньги урезали, хожу, ищу».

«Когда я её провожал на Тверскую, она после развода к отцу переехала, – вздохнул, погружаясь в приятные воспоминания, зонтичный, – мы брали в подземном переходе на Охотном хот-доги в ночном ларьке. А в магазине внизу – пиво. Иногда потом добавляли. Такая у нас образовалась традиция. Заходили по пути во двор, где скамейки и, так сказать, поздно ужинали. Она привыкла. Иногда даже, – понизил голос, но Ангелина Иосифовна расслышала, – тащила в подъезд. Там на втором мраморный подоконник, широкий, как плита, удобно упираться. Но это, когда адмирал был живой, сейчас можно сразу к ней, но ты не удивляйся, если вдруг не дотерпит».

Ангелина Иосифовна честно призналась себе, почему в давний прогулочный вечер не стала измерять запас жизневоды над головой дочери адмирала. Она услышала, сквозь шуршание снимаемых с хот-догов бумажек и щелчки открывае-

мых банок пива её смех. Это был смех счастливой женщины.

Где адмирал, там вселенские воды, подумала она во время очередной прогулки, выходя из Александровского сада на Манежную площадь, эсминцы и авианосцы, морская авиация и пехота. А ещё, вздохнула, подводные лодки. Океан казался ей жидким черепом Земли. Подводные лодки плавали внутри него, как insultные тромбы. Что подделаешь, где ядерное оружие, там риск. Оно дремлет в торпедных отсеках и подземных шахтах, но один глазок всегда открыт, смотрит.

Она отвлеклась от воспоминаний о разговоре двух пожилых джентльменов. Они были каплями на перископе всплывающей субмарины. Её увлék образ затаившейся в Марианской впадине или под ледяной корою Северного полюса подводной лодки. Так, по её мнению, должна была выглядеть тайна, выстреливающая в нужный момент из глубины ракетой, проламывающей толщу чёрных вод и ледяную броню. Она, конечно, может insultно потрясти (хорошо, если не уничтожить) всё на свете, продолжила мысль Ангелина Иосифовна, но ледяная броня крепка, толща вод бездонна, а люди боятся истины, гонят её, как неопрятную грязную птицу, присевшую на балкон. А ещё боятся смерти. Молодые, снова вспомнила слова философа Степуна, живут с глазами, закрытыми на смерть. А все вместе, старые, пожилые, молодые, может быть, за исключением детей, добавила от себя, на истину.

«На чём держится мир», «Ничья длится мгновение» – случайно всплыли в памяти названия прочитанных в психоневрологическом интернате произведений. Хотя, почему случайно? Когда в библиотеке не осталось непрочитанных книг, которые она сама выбирала, она принялась, изумляя библиотекаряшу (по совместительству инструктора ЛФК) читать по алфавиту.

Ангелина Иосифовна отчётливо увидела чёрно-серую обложку книги. Вот только фамилию автора не смогла вспомнить. Читая всё подряд, она не отвлекалась на подобные мелочи. Содержание подхватывало её, как ветер листья в Александровском саду, уносило в такую высь, откуда корпуса психоневрологического интерната казались едва различимыми болячками на широко раскинувшемся теле Земли.

Хорошую книгу Ангелина не просто читала, а по ходу дела додумывала и передумывала, вводила новых и изгоняла, если не нравились, старых героев, мешала, как водку с пивом, свою фантазию с авторской. В результате образовывался бьющий по мозгам ёрш, щетинисто прущий против намеченного автором течения. Он не помнил икринку, откуда вылупился, норвил её сожрать. Для того, собственно, и пишутся книги, рассудительно полагала Ангелина, чтобы читатели жили в них, как в домах, а если что-то не так, перестраивали, или... сносили.

В первом произведении речь шла о неожиданной встрече в концлагере девочки и добермана, реквизированного у семьи девочки, когда Гит-

лер весной тридцать девятого года присоединил к рейху остаток Чехии, и вермахт оккупировал Прагу. Евреям не полагалось держать породистых служебных собак. Немецкие кинологи в специальном питомнике перевоспитали добермана для несения охранной службы. Псу понравилось это дело, и он даже как-то загрыз до смерти по команде эсэсовца обессилившую пожилую узницу, продемонстрировав свою верность тысячелетнему рейху. Но потом между псом и оказавшейся в этом же лагере девочкой случился визуальный контакт. Картины прежней мирной жизни ожили в голове добермана. Ангелина как будто сама оказалась в лагере. Ночь, луна, вышка с прожектором, колючая проволока под убийственным напряжением. В психоневрологическом интернате не было вышек и колючей проволоки, но некоторое родство между пейзажами присутствовало. Желая помочь вышедшей в его дежурство по лагерному периметру из барака хозяйке, доберман вцепился в проволоку зубами. Девочка (она не собиралась бежать, а хотела всего лишь его погладить) попыталась оттащить бьющегося в конвульсиях пса. Они попали в луч прожектора. Охранник расстрелял их с вышки из пулемёта.

Ангелина не знала, так было в книге или иначе. В её книге было так. Мир держался на том, что доберман и девочка погибли и – одновременно – на том, что она хотела его погладить, а он – помочь ей вернуться в прежний мир, где им было хорошо. Понять, что тот мир более не существует, собака, видимо, не могла. Животные, как установил вели-

кий физиолог Павлов, обладают линейной, а не объёмной, как люди, памятью. Мир стоял на том, что в мгновения смерти девочка и доберман любили друг друга. Это было зыбкое стояние на качелях, один конец которых был тяжёл, как свинец, а другой невесом, как воздух. Но каким-то образом жизнь балансировала на них, ища невозможное равновесие. Это история потрясла бы фейсбук, если бы у Ангелины Иосифовны имелся там аккаунт, нагнала бы в её копилку немислимое количество лайков. Глядишь, и рекламодатели обратили бы внимание на скромного блогера-провизора. Не мне, не мне, вздохнула она, монетизировать холокостную печаль.

Во втором, преобразованном неуёмной фантазией Ангелины произведении забытого автора, чудом выживший в нацистском лагере шахматист, спустя годы, в отеле встретился с немецким коллегой, проводившим в оккупированной Праге сеанс одновременной игры с собранными по лагерям и тюрьмам шахматистами-евреями. Торжество арийского шахматного гения, однако, получилось не полным. Все участники этого, с позволения сказать, турнира поддались немцу, и только один осмелился в стопроцентно выигрышной позиции предложить игравшему в мундире оберштурмбанфюрера СС сопернику ничью, которую тот принял. Спустя годы, в заштатном португальском отеле уже немецкий шахматист, сменивший мундир оберштурмбанфюрера СС на потёртый пиджачок туристического агента предложил приехавшему туда по своим делам и случайно узнавшему его,

сидящего в холле за шахматной доской еврейскому коллеге сыграть партию. Тот согласился, но партия сложилась не в его пользу. Видимо, скрывающийся от возмездия немец, тратил немало времени (а чем ещё ему было заниматься?) на шлифовку шахматного ремесла. До проигрыша оставалось несколько ходов, когда он предложил еврею ничью. В этот момент в холл как раз вошли полицейские, так что у чудом выжившего в лагере смерти еврея был выбор как поступить. Но он принял ничью от находящегося в стопроцентно выигрышной позиции немца, памятуя о том, что бывший эсэсовец не отправил его в газовую камеру за ту, другую ничью.

Точные названия, спустя годы, мысленно одобрила неизвестного, но правильно понимавшего жизнь автора Ангелина Иосифовна. Мир, воистину, держался на дрящейся мгновение, ничьей между добром и злом. Только это мгновение, подумалось ей, растянулась на всю историю. А вы, мысленно обратилась она к несуществующему сообществу своего несуществующего аккаунта в фейсбуке, согласились бы на ничью или играли строго на выигрыш? У меня никогда не было собаки, вздохнула она, никто не будет играть со мной в шахматы.

Если бы я была мужчиной, мне бы льстило знакомство с дочерью адмирала, вернулась к делам сегодняшним Ангелина Иосифовна. Оно равнозначно приобщению к тайне. Но тут же и загрустила. Она сама была одновременно и тай-

ной и (во многих смыслах) ничьей, но мало кто рвался с ней сыграть.

А если и (теоретически) рвались, то к вторичным сопутствующим тайне элементам. Рвались под юбку, к нестареющему телу, на охрану которого с некоторых пор заступила очкастая черепашня физиономия. Хотя, в слове «рвались» присутствовала ожидаемая (по Фрейдю), но строго не направленная на Ангелину Иосифовну сексуальная энергия. Никто не рвался к ней под юбку, потому что никто не знал про свежее, белое, как холодильник, тело. Она тоже не знала, как бы этот холодильник встретил лезущую в него руку – заморозил, ударил током? Или, напротив, лизнул, как не оправдавший надежд немецких кинологов, неарийский доберман руку бывшей хозяйки?

Ангелина Иосифовна вспомнила, как несколько месяцев назад Андраник Тигранович неожиданно вручил ей абонемент в фитнес-клуб «Золотая гагара» с бассейном.

«Зачем?» – удивилась она.

«Я переписал на тебя абонемент жены, – объяснил он, – она не сможет ходить до конца года. Уехала к брату в Германию».

«А если вернётся? Прилетит, как... золотая гагара?» – Ангелине Иосифовне понравилось, что фитнес находился в Хохловском переулке, то есть не сильно далеко от её дома и аптеки.

«Тогда отберу, – пообещал Андраник Тигранович, – вытащу тебя из бассейна, как... черепаху».

Понятно, поправила на носу очки Ангелина Иосифовна, хочет увидеть, что под панцирем.

Поступок начальника её озадачил. Она не была решением его семейных проблем. Разговор происходил в кабинете, где ей ничего не напоминало ни о чём, за исключением портрета Ленина на стене. Много лет он валялся на складе, а вот, поди ж ты, выскочил из пыльного небытия.

«Под Лениным себя чистите?» – кивнула на Ильича Ангелина Иосифовна.

«Живее всех живых, – ответил Андраник Тигранович. – Отдал туркам нашу землю, но остановил геноцид. Понимал, – с уважением посмотрел на портрет, – как работать с народами».

Политолог, перевела дух Ангелина Иосифовна. И швец, и жрец, и на дуде игрец, посмотрела на не устающего открываться с разных сторон начальника. Уточнила: не на дуде, а на дудуке, так, кажется, называется народный армянский музыкальный инструмент. Начальник часто слушал в кабинете старинную национальную музыку. Она и сейчас приглушённо звучала из одетого в морёный дуб музыкального центра. Видимо, Андраник Тигранович приобщал к ней незримо присутствовавшего в кабинете Ленина, предпочитавшего (это в советское время знал каждый школьник) «Аппассионату» Бетховена.

«Как сладко дудук поёт», – он отошёл к окну, но Ангелина Иосифовна заметила на чёрной щетинистой щеке заплутавшую слезу.

Она решила больше вопросов не задавать, не травмировать начальника. Нельзя, перевела взгляд на портрет Ленина, жить в России и быть свободным от России.

Это было невозможно, но Ангелине Иосифовне показалось, что выражение лица на портрете изменилось. Во времена заведующего-коммуниста Ленин строго и прямо смотрел со стены. Не все посетители кабинета выдерживали его взгляд. Сейчас вождь мирового пролетариата иронично косился на мягкую кожаную мебель, лакированный наборный (под старину) глобус на страусовой ноге, внутри которого скрывался бар, расстегнувший деревянное пальто музыкальный центр. Всё это – пыль, как будто говорил он, исчезнет, как неведомая страна «Тартария» на историческом глобусе. Не прятался от проникающего ленинского взгляда и сейф под армянским пейзажем в золочёной раме. Ангелина Иосифовна не сомневалась, что Ильич знает, сколько в сейфе денег и когда они будут экспропрированы на нужды народа. Интересно, подумала она, вернул бы Ленин армянам Арарат, если бы вдруг сейчас возглавил Россию?

Она совсем не удивилась, когда, спустя какое-то время, Андраник Тигранович признался: «Я видел тебя два дня назад в бассейне».

«А я вас нет», – мгновенно перебрала в памяти молодые и старые мужские тела в плавках, шапочках, некоторые при ластах и водяных очках на всех четырёх дорожках (она всегда всё видела и ничего не забывала) Ангелина Иосифовна.

«Я смотрел на тебя сверху, из офиса охраны. Там слепое в одну сторону стекло. Я, видишь ли, покупаю половину этого заведения».

«Почему только половину?» – уточнила Ангелина Иосифовна, как если бы начальник покупал упаковку таблеток.

«Зачем зря тратиться? – спросил (у самого себя?) Андраник Тигранович и сам же (себе?) ответил: – Я проведу решение о капитальном ремонте, выкачу такую смету, что другие акционеры отдадут свои доли по моей цене. Они не потянут ремонт. Кто-то, конечно, предложит увеличить уставной капитал, но акции всё равно подешевеют. Без вариантов. «Золотая гагара»... – поморщился. – Это пошло и... – добавил после паузы, – не ко времени».

Ангелина Иосифовна пожала плечами. Выходящие за пределы аптеки у Садового кольца коммерческие (и геополитические, вспомнила про ленинскую работу с народами) проекты Андраника Тиграновича её не интересовали.

«Что ты делаешь со своим лицом? – спросил он. – Зачем прячешь тело?».

Похоже, у начальника было отменное зрение, или он смотрел на неё сквозь слепое стекло в бинокль.

«Прячу? – задумалась Ангелина Иосифовна. – Рада не прятать, так ведь не... в Майами живём».

В аптечной подсобке был телевизор. Пять минут назад Ангелина Иосифовна пила там кофе и смотрела репортаж из Майами. Народ ходил по набережной в майках и шортах, а нависший над океаном с висящими садами, вертолётной площадкой и бассейном на крыше небоскрёб, оказывается, принадлежал сбежавшему из России

заместителю министра финансов, о чём поведал гибкий и быстрый, как червячок, ведущий. Как поняла Ангелина Иосифовна, в студии собрались отлучённые от океанского небоскрёба брошенные жёны, любовницы, дети и родственники объявленного в розыск чиновника. Они не сильно верили в то, что им что-то достанется из его имущества, а потому не велись на вопросы ведущего, типа: «Вы за то, чтобы его вернули в Россию и судили?», или: «Вы согласны с тем, что собственность олигархов должна быть возвращена народу?». Один информированный дальний родственник даже поинтересовался у ведущего: «А вы готовы отдать свой особняк в Барвихе народу?», на что ведущий, сверкнув очками, ответил, что честно декларирует доходы, у налоговых служб к нему претензий нет.

«Хочешь туда?» – посмотрел ей в глаза Андраник Тигранович.

«Куда?»

«Со мной», – тихо договорил он.

Теперь она увидела в его глазах страх, но не тот, какой, вероятно, испытывал прячущийся в небоскрёбе заместитель министра, а обобщённый всеобъемлющий страх за всё, что вокруг. Вирусный (в медицинском и политическом смыслах) страх с началом сменяющих друг друга (альфа, бета, омикрон, кентавр, ниндзя) ковидных эпидемий, военных действий, мобилизаций, санкций и прочих обрушившихся на страну бед был щедро разлит в воздухе. Но одно дело дышать им, потому что другого воздуха нет, другое – точ-

но знать, сколько осталось дышать. Да, дело движется к концу, но... не сейчас. А если – прямо сейчас, вместе с тобой и всем, что рядом? Ангелина Иосифовна уважала начальника, но сомневалась, что это его вопросы. Не тот масштаб.

«Не всё коту масленица», вспомнилось ей название пьесы Островского. Андраник Тигранович и гость из Карабаха отправились смотреть её в Малый театр. Странный выбор. У Островского есть и другая – «Не в свои сани не садись». Перед глазами возник мордастый с усами в сметане кот, нагло лезущий в приготовленные явно не для него царские какие-то золочёные сани. В Майами, в фитнес, в бассейн, в Карабах, в сани – без меня! – подумала Ангелина Иосифовна.

«Вокруг столько достойных женщин...» – начала, но начальник перебил.

«Женская плоть – вино. С возрастом букет обретает завершенность, крепнет и очищается».

«От иллюзий, – сказала Ангелина Иосифовна. – Но я не вино, я уксус».

«Уксус дезинфицирует, – подумав, заметил Андраник, – Тигранович, – обостряет вкус. Без него жизнь становится диетической и скучной».

Как жаль, что у мужиков такое короткое, не длинное... произвольно скользнула взглядом по штанам начальника Ангелина Иосифовна, воображение.

«Вот только пить его нельзя, – вышла из кабинета. – А овсянка, – обернулась у двери, – продлевает жизнь».

...Как бы они все удивились, подумала Ангелина Иосифовна, рассматривая ребристую, как тыква, луну над домом Пашкова, что я девственница. Хотя, наверное, это не та тайна, какой можно пленять мужиков в моём возрасте. Это всё равно, что верить, снова посмотрела на луну, что там есть жизнь.

Ей вспомнилась другая прогулка по тому же маршруту. Тогда – много лет назад – была ранняя бесснежная весна, погода напоминала осеннюю, а луна – не тыкву, как сейчас, а жёлтую, исходящую соком дыню. Ангелина Иосифовна, помнится, долго стояла на переходе, ожидая пока из кремлёвских ворот выкатится кортеж с сиренами и разноцветными, как на новогодней ёлке, мигалками. Сквозь освещённый выезд из Кремля, сочащийся из луны сок, нижнюю (со дна Болотной площади) подсветку Большой Каменный мост смотрелся, как пунктирный мерцающий хребет, соединяющий власть и народ. Согнутый, подобно библейской вые, конец моста терялся во мраке. Поверх блестящей ночной воды на Кремль угрюмо смотрел знаменитый, воспетый писателем Юрием Трифоновым, Дом на набережной. В тридцатых годах многих из квартировавших там советских вождей расстреляли. Возможно, их тени заглядывали в окна бывших квартир в надежде разглядеть новых жильцов, оценить их вклад в вечно живое, ответственное и смертельное дело государственного управления. Но темны были окна. Андраник

Тигранович, помнится, поведал Ангелине Иосифовне, что один его знакомый бизнесмен приобрёл в Доме на набережной квартиру только потому, что в ней жил брат железнодорожного сталинского наркома Кагановича.

«Зачем?» – удивилась она.

«Для инициации во времени и пространстве, приобщению к истории, – неожиданно логично объяснил начальник. – Конечно, жить он там не будет, а в правительстве, или на экономическом форуме в Давосе или Питере, скажет между делом уважаемым людям, вот, взял по случаю в Доме на набережной квартиру Кагановича, не уточняя, что брата».

«Михаил – представитель славной трудовой династии Кагановичей, так тогда писали, – припомнила Ангелина Иосифовна. – Нарком авиационной промышленности, сам застрелился, не стал ждать».

«Всё-то ты знаешь», – подозрительно покопился на неё Андраник Тигранович.

«Люблю читать, – призналась Ангелина Иосифовна. – Голова как лента для мух. Липнут разные факты и сведения».

«Застрелился, говоришь? – уточнил Андраник Тигранович. – Значит, чувствовал, что...»

Не всё коту масленица, подумала она.

«Я слышала, – решила сменить тему, – что в Доме на набережной полтергейст – обычное дело».

«Потому и цены бешеные, – заметил начальник, – ревет и ломится убитая эпоха».

«В окна Овертона», – зачем-то уточнила Ангелина Иосифовна и тут же отругала себя за ненужную (по пустякам) демонстрацию начитанности. Ей не хотелось признавать, что она кокетничает с начальником.

«Трещат окошки, – со злой радостью в голосе отозвался Андраник Тигранович. – Помнишь, была такая песня: «Трещит земля, как пустой орех, как щепка трещит броня...»

«Какое мне дело до всех до вас, – подхватила она, – а вам до меня! Там ещё какой-то мужик пустился в пляс». – Ей тоже нравилась песня из старого советского кинофильма «Последний дюйм» по роману австралийского писателя Джеймса Олдриджа.

«Точно не брат Кагановича», – сказал начальник.

Наверное, ты сам хотел купить эту квартиру, подумала Ангелина Иосифовна.

«На хитрую каждую муху, – подвёл итог странной беседе Андраник Тигранович, – есть липучка с винтом... на закате дня».

Он тоже помнил последний (про пулю-дуру меж глаз) куплет.

Домой после ежевечерних прогулок Ангелина Иосифовна всегда возвращалась через Большой Москворецкий мост и Красную площадь. Но той ранней весной у самого спуска на Болотную неведомая сила развернула её обратно. То ли снизу – от воды, то ли сверху – с пронизанного лунным светом неба – на Большой Каменный мост под-

нялся (опустился) туман. Светильники на мосту горели через два на третий. Видимо, в круглосуетливой жизни мегаполиса возникла мистическая пауза: ни машин, ни людей. Опять песня, подумала Ангелина Иосифовна, с песней по жизни! Ветер стих, воздух застыл, как кисель. В подобные законсервированные мгновения боги окидывают контрольным взглядом столы, вспарывают припасённые на чёрный день консервные банки. Пан? – задумалась Ангелина Иосифовна. Или... Артериальный? Что им до моста? Артериальный в кровотоке, как рыба в чешуе. Пан – лесная глушь, тягучий, как клей, сон. Значит... Пропал, легко материализовала из небытия очередного бога. У него бесконечные руки и клюв, как нож. Любую банку вскроет и сервирует. Как глупы люди, посмотрела в небо на вытряхнутую из небесной жестянки луну, игнорирующие Пропала. Особенно когда он, как сейчас, засучивает рукава, если, конечно, носит рубашки. Её не пугали выпроставшиеся из засученных рукавов бесконечные руки. Они были не по её душе. Она была зрителем в уличном, точнее, «Театре на мосту» режиссёра Пропала.

Мистическая пауза перед началом спектакля между тем истекла. Ангелина Иосифовна разглядела внутри подрагивающего туманного киселя две фигурки, мучнистыми шариками скатывающиеся с выгнутой выи моста. Мужскую переполняла игривая сила, сытое баранье неверие в новые ворота, перед которыми должно притормозить. Женская – в короткой белой шубке – эле-

гантно присела пописать, поднялась, запахла шубку, но не поспешила догонять кавалера. Тревожная задумчивость появилась в её движении. Шаг вперёд, два шага назад – вспомнила Ленина Ангелина Иосифовна. Ленин, как бог Пропал, как материя, был везде. Я не зритель – она протестующе подалась вперёд навстречу стремительно приближающемуся встречному, я суфлёр!

«Нас вечер встречает прохладой!» – прокричала в дрогнувшие зрачки кудрявого темноволосого, шумно дышащего коньяком, отменно жареным мясом, приправами, в аромате дорогого стойкого парфюма мужчины. У него было плотное лицо любителя много и вкусно есть, и не то что бы наглый, но утомлённый (благами жизни) взгляд человека, который мог позволить себе всё, но несправедливо остановленного на пути к абсолютному «всё» по имени власть, которое превышает материальных благ. Оно скрылось от него за занавесом, куда он не успел проскользнуть, застрял в портьерах.

«Я девственница, возьми меня! – ломая действие пьесы, Ангелина Иосифовна схватила кудрявого за рукав, потянула к ступенькам спуска с моста. Туда – в чёрный воздушный мешок – не доставал кинжальный взгляд Пропала. Она чувствовала, что Пропал скребком счистил с её лица морщины, зажёл глаза, разогнал кровь. Она реально была готова на всё. – Бери, или... проиграешь!» – прошептала она.

«Я... – брезгливо стряхнул её руку, колыхнул животом сквозь расстёгнутую куртку мужчина, –

люблю молодые тарелки! – Отшатнулся, как если бы в руке у неё, как у лермонтовского чёрного человека, блеснул «булатный нож».

«Je suis vraiment desole, – произнесла она по-французски одну из немногих заученных фраз. – Мне очень жаль», – повторила по-русски.

В минуты роковые (она уже засекала медленно выезжающие на мост непонятного, как гие-на в ночи, цвета винтажные «Жигули») человек произносит главные слова в своей жизни, пусть даже они кажутся глупыми и смешными тем, кто их слышит. Соль пьесы. Я хотела отдать ему себя, подумала Ангелина Иосифовна, а он... любит молодые тарелки, рассыпал соль.

«Сдурела, тётка?»

«Сдурела», – подтвердила Ангелина Иосифовна, стекая с чёрных ступенек спуска на Болотную площадь.

«Эй, где ты там застряла?» – обернулся кудрявый.

Краем глаза она зафиксировала, как он, скрипнув подошвами, развернулся и пошёл обратно навстречу девушке. Потом услышала несколько хлопков, девичий крик, шлепки упавших с моста в воду предметов, рёв уносящейся машины. Телефон и пистолет, догадалась Ангелина Иосифовна, ищи-свищи.

«Случай на Большом каменном мосту», так она вослед гениальному рассказу американского писателя Амброса Бирса «Случай на мосту через Совиный ручей» «заархивировала» в памяти тот

эпизод, перевёл её мысли на военно-оружейные темы. Амброс Бирс после Гражданской войны в США отправился в Мексику (там тоже шла война) и пропал без вести. Никто не знает где его могила. Возможно, писатель, как и герой его рассказа, успел насладиться моментальным бессмертием внутри смерти. Героя повесили на мосту через Свинный ручей, но в момент, когда хрустели шейные позвонки, он пережил иллюзию спасения – верёвка оборвалась, он упал в ручей, выбрался на берег и уже ощущал босыми ногами мягкую траву. Но: «Пэйтон Факуэр был мёртв; тело его, с переломанной шеей, мерно покачивалось под стропилами моста через Свинный ручей».

Перед глазами Анжелины Иосифовны как живой (хотя, по законам природы он никак не мог дотянуть до настоящего времени) возник инструктор по военному делу в медицинском училище. Представители первичного звена здравоохранения: санитарки, медсёстры, медбратья, фельдшеры, а в будущем, возможно, полноценные врачи, не должны были, случись война или локальный вооружённый конфликт, трусить, тупеть и теряться на поле боя. Вдруг придётся отстреливаться, а то и подменить выбывших из строя бойцов в окопе или блиндаже?

Военрук был похож на сточенный злым грибок ноготь – сутулый, худой, непобедимо пропитанный запахом несвежего, часто в сопровождении алкогольного выхлопа, сыра, в застиранной офицерской рубашке, с прыгающими зрачками в оловянных глазах. Безумные люди часто

невзначай заглядывают в будущее, как в окошко, где раздевается прелестная девушка, или сопит, помешивая на огне зелье старуха-колдунья. Только вот осмыслить увиденное, сделать правильные выводы не могут. А если могут, то не могут объяснить их другим, или хотя бы обратить себе на пользу.

Ангелина Иосифовна уже в давнюю учебную девичью пору знала, что большинство людей безумны, просто у большинства хватает воли сдерживать безумие, как рвущегося с поводка перепрограммированного концлагерного добермана. Но есть такие, кто не может удержать «мысленного», как писали в давние времена церковные просветители «волка» (добермана). Они ищут лазейки, чтобы снизить давление безумия на свой разум через приобщение к нему окружающих. Одни растворяют (маскируют) формулу безумия в доступной публичной деятельности, скажем, неистовствуют в социальных сетях. Другие – отважно презентуют безумие, выходят как клоуны на арену больших или малых цирков. Нет такой мерзости, вспомнились Ангелине произнесённые в разгар перестройки слова «чистившего» себя под Лениным молодого директора советской аптеки, какую бы не совершил человек, и какую бы многократно не повторили потом другие люди. Она тогда подумала, что это относится к ней, но потом поняла, что ленинец брал шире. Мелкие физиологические, можно сказать, естественные, грешки его не волновали Он, возможно неосознанно, но в духе единственно верного учения определял безумие как

скрытую готовность к греху общественному. Как блуждающую болезненную сущность, меняющую жизнь отдельных граждан, а иногда и целых государств. Разрушение СССР было, по его мнению, коллективным грехом народа. «Значит, – спросила тогда у него Ангелина, – у русского народа нет шансов?» – «Шансов нет. Остался только выбор, – ответил ленинец, – между вариантами самоуничтожения». – «И чудом», – добавила Ангелина. «Возможно, – пожал плечами начальник, – но я атеист».

В начале девяностых по всем телевизионным каналам показывали, как известный театральный режиссёр сжигает в пепельнице партийный билет. Обострившимся соколиным каким-то взглядом Ангелина успела рассмотреть астрономические цифры ежемесячных заработков режиссёра, с которых тот платил партийные взносы. Партбилет был отпечатан на бумаге высочайшего качества, а потому геройски противостоял кривому огоньку из одноразовой импортной зажигалки. Режиссёр злился, огонёк прихватывал его за пальцы. С предусмотрительно оторванной обложки на поджигателя брезгливо косился вождь мирового пролетариата. Мы все, угрюмо заметил молодой директор аптеки, будем доживать свой век как слепые черви под камнями Советского Союза.

А я – Большого каменного моста, вздохнула Ангелина Иосифовна, остановившись там, где много лет назад схватила за рукав кудрявого, предложив ему своё самое дорогое – сбережён-

ное в грехе. Кудрявый остался лежать на мосту, почему-то в одном ботинке и с голым животом (так показывали утром по телевизору), а «дорогое» осталось при ней. Бог Пропал не одобрил обмен пожилого детства на бьющую сытым ключом жизнь, завалил кудрявого, как кабана. Железный август в длинных сапогах, вспомнилось ей стихотворение Николая Заболоцкого, стоит вдаль с большой тарелкой дичи. Выбора нет, мысленно возразила, спустя годы, аптечному ленинцу Ангелина Иосифовна, какой выбор там, где гуляет ветер судеб, вспомнила другое, кажется Андрея Вознесенского, стихотворение, судебный ветер! Она не сомневалась, что именно этот ветер принёс на перепончатых крыльях смертоносный (безвыборный) вирус.

«Вы думаете, что понимаете что-то в медицине, – приговаривал военрук, укладывая будущих медсестёр на маты в переоборудованном в тир подземном овощехранилище, распределяя СКС (скорострельные карабины Симонова, их на всех не хватало) и музейные – тридцатых годов – мелкокалиберные винтовки с отшлифованными до блеска щеками осовиахимовцев прикладами. – Ничего вы не понимаете!» – притискивал к мату, чтобы она правильно целилась старосту группы Катю. Не получалось – мешали груди. Катя лежала на них, как на двух ходящих туда-сюда поршнях.

«Откормила мамка, снайпера из тебя точно не выйдет, – качал головой военрук. – Ложись на

правое плечо, вытяни вперёд руку, – подсказывал подходящую позицию и продолжал: – Чтобы правильно лечить, как, кстати, и стрелять, надо знать повадку каждого органа. А чтобы знать, надо понимать, что за чудо угрелось у тебя, или у того в кого целишься, внутри, и что оно о себе думает».

Ключевое слово «снайпер» было вскользь и будто бы в шутку произнесено, но этого хватило, чтобы Катина жизнь, как пуля, полетела в назначенном направлении. Девушки (в их группе парней не было) сопели на матах, не смея возражать военруку, расхаживающему по тире с деревянной коробкой, внутри которой перекатывались скупно выдаваемые патроны. Близость к оружию дисциплинировала. Грудастая Катя вскоре вышла замуж за лейтенанта, определились на службу в гарнизонный медпункт. Ангелина слышала, что Катин лейтенант стал засекреченным снайпером, отличился в Чечне или Дагестане, а потом загадочно, как писатель Амброс Бирс, пропал. Жалея Катю, Ангелина Иосифовна надеялась, что пропал не как герой рассказа на мосту через Совиный ручей или кудрявый любитель молодых тарелок на Большом Каменном мосту. Иногда бог Пропал бывал милосерден, прятал отыгранные карты в длинных рукавах своей рубашки.

«Поджелудочная железа – принцесса, – торопился поделиться сокровенными знаниями военрук, потому что студенток было мало, и патроны он уже раздал, хотя и не разрешил заряжать, велел положить рядом. – С поджелудочной без

книксена, поцелуя ручки никак! Фифа! Злопамятная, добра не помнит, предаст и не пукнет. Печень – партизан, из засады – хэнде хох! – и в расход. Желчный пузырь – сволочь, болтун, интеллигент – лживый трус. Желудок – тупой колхозник, что урожай, что неурожай – одна беда. Щитовидка – вдова, красоту прогуляла, пропила, но ей хочется! Найдёт мужика – засушит, как кузнечика в энциклопедии. Сердце – конь, но нравный, копытом в башку. Запряжёшь – и в гроб! А правая почка – дура, дура! – со слезой выкрикнул военрук, взметнув с оловянной ложки зрачки, как если бы у почки были уши, и она должна была услышать. – Левая ещё туда-сюда, любит струнную музыку, а правая... оторва, ни стыда, ни совести! – потряс кулаком. – Поняли? Вам этого никто не расскажет. И не забывайте про пищевод, когда берёте на мушку. Змея-то змея, а шкура наждачная! Шипит, никто не слышит, а укусит – конец! В женские дела не лезу – тьма, сыр, как в погребе. Мишени видите? Цельтесь в чёрный кружок посередине! – И после паузы: – Не дай Бог вам стрелять в человека! Всё, отвоевались, всем зачёт! Сдать оружие!»

На стенах висели плакаты, объясняющие, что надо делать гражданам во время ядерного удара. Должно быть, в поле зрения военрука попал чудовищный гриб, похожий на распущенный моток чёрной шерсти, или гигантский, ввинчивающийся в крыши рассыпающихся домов шуруп, и он подумал, что умение метко стрелять будущим медсёстрам не поможет.

И ещё один случай на давних военных занятиях запомнился Ангелине Иосифовне. В тот день военрук обучал их обращению с противогАЗами. Полной противоположностью грудастой Кате казалась узенькая и лёгкая, как колеблемая ветерком камышинка невидная девушка из северной – то ли вологодской, то ли архангельской глуши. Взгляд проходил сквозь её прозрачное лицо, как сквозь воздух, не задерживаясь. Бывают такие, слитые с природой лица. Не забывающая ничего Ангелина Иосифовна и сейчас не могла вспомнить, какого цвета были у девушки глаза. Серо-голубые, как небо, тёмные, как земля, или зеленовато-жёлтые, как трава? Возможно, они меняли цвет в зависимости от состояния атмосферы и окружающего ландшафта.

Ангелина Иосифовна, кстати, не понимала негативно-презрительного толкования слова «хамелеон». Перед кем и в чём провинилось это существо? Симпатии человечества были на стороне вредоносных насекомых, а не хамелеона, который незаметно подкрадывался и арканил их длинным липким языком. Да, выглядел хамелеон не очень эстетично, напоминал лысого похотливого старика с выпяченной губой, но ведь критерии красоты подвижны и изменчивы во времени и пространстве. Ещё недавно в цивилизованном мире эталоном по умолчанию считалось одухотворённое лицо обобщённого белого человека с высоким лбом, слегка вьющимися светлыми волосами и изысканными ангельски-

ми, увы, часто искажёнными страданием, чертами. Оно смотрело на посетителей с алтарей, витражей и фресок в соборах, с картин, икон и гобеленов в музеях. Если Бог, как утверждалось в Священном Писании, создал человека по своему образу и подобию, а Иисус Христос был его возлюбленным сыном, то логично было предположить, что Сын похож на Отца. Однако привычное, исполненное по божественной франшизе, тысячелетнее лицо необъяснимым ползучим образом в последние десятилетия теснило с занятого (казалось, что навсегда) культурно-массового плацдарма лицо тёмное, с низким в ленточку лбом, толстыми губами и злой неясностью во взоре. Обладателя похожего лица случайно придушили полицейские в Америке. Перед другими обладателями похожих лиц люди в Соединённых Штатах Америки и в Европе становились на колени, целовали их обувь. То же самое делали футболисты перед началом матчей, что казалось Ангелине Иосифовне странным, поскольку большинство футболистов в ведущих европейских клубах являлись людьми смешанной, как сейчас было принято говорить, расы, да к тому же сплошь миллионерами, а некоторые – миллиардерами. Их-то что не устраивает, недоумевала она.

Неожиданно для себя она полюбила смотреть футбол. Игра великих команд – «Манчестер Сити», «Пари Сен Жермен», «Ювентуса», «Барселона» – напоминала ей изысканную вышивку по зелёному полю. Наблюдая её короткие стежки и извилистые петли, она получала эстетиче-

ское удовольствие. Формирующийся цифровой (в пандемийно-QRкодовом изводе) мир был скуп на эстетику. Поэтому причитающуюся нормальному человеку эстетическую пайку приходилось красть как яблоки из чужого спортивно-игрового сада. Политика Ангелину Иосифовну не интересовала, но рассматривая людей на трибунах футбольных стадионов в Лондоне, Париже, Мюнхене, она невольно начинала размышлять над тезисом, определяющим политику как коллективную волю нации. Если люди смешанной расы скоро станут в Европе большинством, то в чём их воля? Объединённый Запад крепко стоял на нелюбви к России. Но это была традиция прежнего – белого – Запада. Новому – смешанной расы – Западу не за что было ненавидеть Россию, двигать на неё Великую армию Наполеона или вермахт Гитлера. Россия, когда была СССР, боролась с колониализмом, привечала угнетённые народы. Сегодня ввязавшейся в конфликт с Западом России следовало выиграть время, что управляющие страной люди, не слушая призывов победить любой ценой, «повторить», дойти до Рейна, и делали.

Ангелина Иосифовна знала, в чём новая воля. Когда-то англичанин в пробковом шлеме, поигрывая стеклом, наслаждался видом трудящихся на плантациях негров и арабов. Сегодня негр с арабом сидели в Европе на пособиях, наслаждаясь видом трудящихся белых. Особенно усердно на благо переселенцев почему-то трудились шведы, не имевшие колоний. В городе Мальме, если верить тому, что говорили по радио, собственно

шведов уже и не осталось. Наш Могадишо, так называли новые жители этот город, шведам тут не место. Не надо суетиться, думала Ангелина Иосифовна, рыдать, как Достоевский, над «святыми камнями». Любви и братства во Христе не будет. В мире смешанных рас всё будет по-другому.

Потому людям и не нравится хамелеон, пришла она к неожиданному обобщающему выводу, что они сами – хамелеоны. Или... задумалась на мгновение, хуже хамелеонов?

...Военрук неторопливо обходил томившуюся в душной противогоазной резине, уставившуюся на него круглыми стеклянными в металлической оправе линзами девичью группу.

«А ведь я ни разу не слышал твоего голоса, – задумчиво произнёс, остановившись возле воздушной девушки. Та вдруг покачнулась и стала медленно оседать на землю. – Дура! – подхватил её военрук, сорвал противогоаз. – Не вывинтила пробку! Две минуты без воздуха! Ты... сумасшедшая, почему не стащила, зачем терпела?»

Она молчала, хватая синими губами воздух, глядя на военрука прозрачными, но слегка затуманенными глазами.

«Точно, дура, – отдышавшись, пробормотала девушка, – как... ваша левая почка. Или правая? Точно не помню».

Некоторое время они стояли слитно – он, морщинистый, пятнисто-седой, дышащий перегоревшей водкой, кисло-вонючим желудочным соком, дешёвыми папиросами и она – ничто

(или нечто), то ли принесённое ветром, то ли проклюнувшееся из земли. Ангелина заметила сквозь мутные стекла противогаза, что пальцы у военрука дрожат, а назвавшаяся его левой (или правой?) почкой девушка, не реагируя на козлиный запах, тесно прижимается к его плечу.

Нашли друг друга, поняла Ангелина. Люди любят находить ненужное. А может, двухминутная безвоздушность отбила у девушки обоняние, и ей было без разницы к чему прижиматься. Военрук вдруг увиделся Ангелине в образе недокуренного окурка, застывшего в воздухе при недолёте в урну. Сколько в нём осталось табака? На одну, две затяжки? Не важно, посмотрела на девушку, эта дурочка не курит, а любит! Воздух вокруг странной пары обрёл тягучесть, прозрачным удавом стиснул военрука и девушку в недолговечную (и это каким-то образом открылось Ангелине!) совместную плоть. Чего только не бывает в жизни, подумала она. Девчонка – ладно, но старому хрену за что такое счастье? Когда он последний раз, цинично прикинула Ангелина, залезал на бабу?

«Так жить можно, – поводит, проверяя реакцию, перед лицом девушки кривым пальцем военрук. – Никому ничего, и ты никому ничего, как нет тебя. Пропадёшь, никто не спохватится, не заметит. Слышала про ангела-хранителя? Где был твой, когда не дышала?»

Девушка молчала.

«Скучно ему с тобой, – вздохнул военрук, – вот и отлетел. Или... – помолчал, – готовит тебя себе на замену».

Ты не понял, козёл, стянула с головы надоевший противогаз Ангелина, не отлетел, а прилетел, она – твой ангел!

А совсем недавно ей снова довелось увидеть оружие, причём не музейную пролетарскую винтовку, а буржуазный новорусский, точнее, новоармянский, золотой пистолет.

Ангелине Иосифовне, единственной из сотрудниц, разрешалось беспокоить начальника, когда он посещал аптечный офис между Мясницкой и Садовым кольцом.

Она, как положено, постучала, но вместо «да» или «войдите» услышала сдавленный рык. Наверное, поперхнулся, подумала Ангелина Иосифовна, а может, объелся и его пучит. Или... Вряд ли, Андраник Тигранович в кабинете с дамами не встречался. Хотя, кто знает.

Он ещё больше потеплел к Ангелине Иосифовне после того, как они обменялись мнениями о крохотном рассказе Хемингуэя «Где чисто и светло». Сошлись в том, что рассказ о жизни и смерти. Спор вышел о «чисто и светло». Андраник Тигранович полагал, что речь идёт о сливе грязной житейской воды, полоскании отлетевшей души в божественной стиральной машине, после чего только и можно рассмотреть её первоизданную сущность. Так археолог очищает от ржавчины извлечённую из едкой земли монету, чтобы определить, какого она достоинства и кто на ней изображён. Ангелина Иосифовна считала «чисто и светло» литературным обобщением

мечты грешного человека даже не о классическом (религиозном) рае, куда не пустят, а, как у Булгакова в «Мастере и Маргарите», его универсальном аналоге – предвечном благодном покое. Кто откажется жить в уютном домике, любоваться цветущим садом, слушать по вечерам волшебную музыку в обществе любимой женщины? Чем-то мечта Булгакова напомнила ей «спасение» героя Амброса Бирса на мосту через Совиный ручей.

Вошла.

Начальник сидел за столом, а вокруг его красного с выпученными, как у лягушки, глазами лица как будто летала, играя на солнце крыльями, чёрно-золотая бабочка, именуемая в просторечии «траурницей», а по-научному «Мёртвая голова». Эта бабочка словно запечатлела в узоре крыльев правду о человеческой жизни – узкую золотую каёмку («чисто и светло») по краю бесконечной тьмы. Ангелина Иосифовна не сразу поняла, что в руке у Андраника Тиграновича пистолет, который он то опускает, то подносит к уху, как будто хочет что-то услышать. Но что мог сообщить ему пистолет, кроме того, что «чисто и светло» неизвестно где, а «грязно и темно» с разбрызганными по стене мозгами и залитым кровью ковром будет здесь и сейчас. Ангелина Иосифовна, чуть не наступив на пустую бутылку из-под виски, как зачарованная следила за пируэтами нетрезвой пистолетной бабочки.

Она всегда выделяла серьёзную и редкую траурницу среди беспечно фланирующих над цветами капустниц, лимонниц и прочих шоколадниц. Траурница не суетилась, летала прямо, пренебрегала цветами, любила отдыхать на нагретых солнцем поверхностях.

По осени учащихся медучилища отправляли в близлежащий колхоз на сортировку привозимых с полей овощей. Ангелине Иосифовне до сих пор иногда снились картофельные и свекольные бурты, бело-зелёные пирамиды турнепса и почему-то... разогретый на солнце дощатый сортир возле трансформаторной будки на краю уходящего к горизонту поля.

Сентябрь в ту осень выдался жарким. Доски обрели звенящую сухость рояльных клавиш. Туда-то, сквозь прорубленное под крышей (вентиляционное?) окошко над зловонной оркестровой ямой и влетела траурница, распустила на серебристой доске чёрно-золотые крылья – ноты на пюпитре, осторожно поигрывая в воздухе усиками – дирижёрскими палочками. Ангелина могла протянуть руку, схватить её, но не стала этого делать, любуясь бабочкой, забыв про вонь. Траурница показалась ей изысканной брошью, орденом, неизвестно за какие заслуги украсившим непрезентабельное санитарное сооружение. Человек – грязь, подумала она, но Бог всё равно его любит.

Андраник Тигранович снова захрипел, с трудом, как заржавевший Железный дровосек

из сказки про Изумрудный город, опустил руку. Ангелина Иосифовна заметила на столе исписанный змеино сползающими предложениями лист бумаги с размашистой подписью. Армянский пейзаж с поросшими кустарником горами и горящим розовой свечой на горизонте Араратом был снят со стены, а спрятавшийся за ним в стене сейф открыт. Она знала, что начальник хранит там деньги (что же ещё?) и зелёный паспорт с расправившим на обложке крылья орлом и похожими на согнутые и разогнутые скрепки арабскими буквами. Но сейчас в сейфе лежала только демонстративно выдвинутая одинокая папка, на которой было жирно выведено фломастером: «Прослушка».

«Извините, я не вовремя», – попятилась Ангелина Иосифовна.

Вдруг он сошёл с ума? Вдруг ему скучно в одиночестве уходить туда, где «чисто и светло»? Неужели один выпил всю бутылку?

«Ты всегда вовремя», – шумно выдохнул Андраник Тигранович, убирая пистолет в ящик стола и одновременно комкая трясущейся рукой исписанный сползающими строчками лист.

Это точно, я всегда вовремя, подумала она.

ТУМАННЫЕ ЗВЁЗДЫ КАССИОПЕИ

1

В далёкие дни беззаботного детства, когда окружали меня любящие родители, старшие братья и сёстры, ограждавшие от всяческих невзгод, я твёрдо верил в то, что впереди жизнь, полная радостей и удач, что никогда ничто не нарушит моего душевного покоя.

Но однажды случилась беда. Я был уже старшеклассником, когда у меня на глазах утонул лучший друг, отличный пловец, человек, без которого жизнь моя теряла всякий смысл, а я, не умеющий плавать, ничем не мог ему помочь и только плакал от отчаяния и сознания собственного бессилия.

В гробу лежал он, чужой и равнодушный, каким никогда до этого не был, и я вдруг отчётливо понял, что каждого из нас подстерегает ненасытный зев могилы. Панический ужас охва-



**Иван
АКСЕНОВ**

Проза



тил меня, и не скоро удалось избавиться от него. С того дня я перестал верить в благополучное течение жизни, в то, что смогу прожить её осмыслительно и разумно, избегая опасностей, которыми, как оказалось, так богата она.

Я перестал быть тем беззаботным юношей, каким был прежде, и принял жизнь не только со всеми её радостями и удачами, но и с горестями и бедами.

И всё-таки в жизни мне везло. Блестяще закончив художественный институт, я много работал и как-то незаметно для себя превратился в модного художника, похожего творческой манерой на Шилова или Никаса Сафронова, хотя с институтских лет считал себя твёрдым последователем импрессионистов. Посыпались заказы от московских богачей, плативших большие деньги за свои парадные портреты и портреты жён, одетых дорого и безвкусно и увешанных тяжёлыми и нелепыми драгоценностями. Я изображал их, нисколько не стараясь приукрасить – с их порочными лицами, пустыми глазами, но им портреты нравились, денег они не жалели ради того, чтобы увековечить себя для своих потомков, и вскоре стал состоятельным человеком.

Но однажды я будто очнулся ото сна, и мне вдруг стало отчётливо ясно, что подобно гоголевскому художнику Чарткову, вступил на путь, гибельный для таланта, ведущий в тупик.

И тогда я решил уехать из столицы куда-нибудь в провинцию, в маленький старинный

городок, чтобы там, вдали от суеты и соблазнов московской жизни, писать этюды, которые по возвращении, запершись в своей мастерской, превращу в картины, написанные в излюбленной мною импрессионистической манере.

Мой друг, бывший однокурсник Николай Горбовский, дал мне адрес своих знакомых, живущих у моря, в живописном месте, где горы до самых вершин поросли лиственными деревьями и кустарником, где из каждого двора пахнет цветами, и в тени каштанов и клёнов стоят удивительно живописные дома.

– Представь себе, – сказал он, – я прожил там, в старинном доме, похожем на замок, всего одну неделю, а впечатлений хватило на целый год. Хозяева дома – люди спокойные, добродушные, они охотно принимают тех, кто приезжает летом и осенью отдохнуть на море. Правда, пляж от них довольно далеко – километра четыре, но у них есть велосипед, и ты легко доберёшься до берега.

– Да не это меня интересует, – сказал я. – Есть ли там красивые пейзажи?

– Ну, этого добра там сколько угодно. Город старинный, там до сих пор сохранились руины греческих укреплений. А улочки – как на картинах Мориса Утрилло: разноцветные стены домов, сплошные спуски и подъёмы, заборы из жёлтого известняка, многочисленные каменные лестницы, вьющийся виноград, плющ заплетает стены и ограды. В общем, для художника это настоящий рай, так что поезжай, не пожалеешь.

Я приехал в этот город рано утром. Солнце только что встало, длинные лиловые тени от зданий тянулись через привокзальную площадь, в кронах деревьев пели птицы; голуби, дёргая головками при каждом шаге, важно ходили по асфальту и склёвывали что-то, видимое только им.

Таксист, которому я назвал адрес, как-то странно посмотрел на меня, однако ничего не сказал. Но до нужного места он меня не довёз, остановив машину у одного из крайних домов улицы Чехова.

– Идите прямо, – сказал он, – тут немного пройти осталось. Там, за кленовой рощей, и будет нужный вам дом.

– А почему вы не едете дальше? – спросил я.

– Да там дорога плохая, не хочется машину гробить, – ответил он.

Я расплатился и пошёл через кленовую рощу. Дорога здесь оказалась ничуть не хуже той, по которой мы ехали от вокзала. Странно, почему таксист отказался ехать дальше. Мне показалось, что его удержал какой-то суеверный страх или неприязнь к дому, в котором я собирался остановиться.

За рощей открылся большой дом очень странной архитектуры. Оба этажа его были сложены из тёмно-серого камня, что придавало всему строению мрачный, угнетающий душу вид, несмотря на широкие итальянские окна во втором этаже и нелепое, какое-то легкомысленное деревянное

крыльцо, окрашенное ядовито-жёлтой краской, режущей глаз.

Но что особенно удивило меня, так это прямоугольная башня, прилепленная к правому крылу здания и похожая на пожарную каланчу.

Я долго стоял, рассматривая дом издали. У меня почему-то пропало желание идти туда. Вспомнился герой рассказа Эдгара По, который испытал подобное чувство, глядя на дом Эшеров, куда он был приглашён своим давним приятелем Родериком. Я даже подумал о том, не лучше ли мне снять квартиру где-нибудь в городе, но мне не хотелось подвести друга, который уже наверняка сообщил хозяевам о моём сегодняшнем приезде.

По дорожке, усыпанной красноватой гранитной крошкой, я прошёл к дому, поднялся на крыльцо и постучал в дверь. Послышались лёгкие шаги, дверь открылась, и передо мной предстала женщина лет пятидесяти. В молодости она, по-видимому, была изумительной красавицей, но и сейчас её тонкое лицо с большими серыми глазами напомнило мне княгиню Юсупову с портрета Валентина Серова: та же высокая черная с проседью причёска, такая же тонкая талия и чёрное платье до пят, каких теперь никто не носит. Она приветливо, будто старому знакомому, улыбнулась мне и сказала мягким, удивительно мелодичным голосом:

– Здравствуйте, здравствуйте, уважаемый Алексей Николаевич! Добро пожаловать в наш

дом. А мы вас уже ждём: позавчера вечером ваш друг из Москвы позвонил, сообщил, когда вы приедете. Входите, вы как раз к завтраку успели.

По длинному полутёмному коридору она провела меня в комнату, расположенную в левом крыле здания, на первом этаже. Здесь стоял широкий диван с аккуратно сложенным на нём постельным бельём, старый двухтумбовый письменный стол, комод и небольшая этажерка.

– Располагайтесь, – сказала хозяйка, – а постель я вам вечером постелю. Минут через двадцать прошу на завтрак.

Я задвинул под диван этюдник, достал из чемодана бритвенные принадлежности, кое-какое бельё и толстую связку листов картона с наклеенным на них грунтованным холстом. Потом переоделся и пошёл в столовую, которую показала мне хозяйка.

– Ну, давайте знакомиться, – предложила она, указав место за столом. – Меня зовут Анастасия Александровна. А о вас я многое от вашего друга знаю. Сейчас соберутся постояльцы и члены моей семьи. Нынешним летом у нас гостей немного. Ничего не поделаешь – кризис. А вот в прошлом году у нас большой наплыв был, хотя мы и живём далеко от моря: все квартиры в городе забиты были отдыхающими.

Вскоре все расселись за столом. Хозяйка представила их:

– Это мой сын Роберт, он уже в одиннадцатый класс перешёл. А это моя дочь Людмила, она преподаёт в музыкальной школе. А рядом с ней

Михаил Ашотович Меликян, – указала она на пожилого мужчину с добродушным лицом, большим носом и обширной лысиной – Он из Тулы, коммерческий директор одной фирмы. А вот эта очаровательная девушка – Маша Калининкова, хористка областной филармонии. Вот пока и все обитатели нашего дворца.

Она весело рассмеялась, и от сердца у меня почему-то немного отлегло, тем более, что завтрак оказался очень вкусным. Я ел, а сам украдкой разглядывал своих соседей по столу. Дочь хозяйки оказалась девушкой лет двадцати пяти, на редкость невзрачной, с длинным унылым лицом. Белокурые её волосы свисали беспорядочными прядями на плечи; брови и ресницы были такими бесцветными, что казалось, будто их нет совсем. Одета она была в ярко-красное платье, которое ещё больше подчёркивало её невзрачность.

Роберт, прыщеватый подросток, мрачно смотрел в свою тарелку, иногда бросая на меня косые взгляды, и казалось, что он ждёт не дожждётся, когда закончится этот мучительный для него завтрак. Я, как видно, ему почему-то не понравился.

Михаил Ашотович то и дело выдавал какой-нибудь анекдот, от которого недовольно морщилась Людмила, зато от души хохотала Маша, красивая блондинка с синими глазами и ярко накрашенными губами. Хозяйка же сидела с безразличным выражением лица, никак не реагируя на сальные анекдоты постояльца.

Не дождавшись чая, Роберт вышел из столовой, громко хлопнув дверью, от чего его сестра так и подпрыгнула на стуле.

После завтрака я договорился с Анастасией Александровной о плате за квартиру и за питание, и она повела меня осмотреть дом. От неё узнал я, что здание это было построено ещё в 1904 году её предком, купцом Варфоломеем Гуциным. После революции купца расстреляли, строение передали под детский дом для сирот, которых так много расплодилось после гражданской войны. Потом здесь располагалась какая-то заготовительная контора, но в перестройку дом забросили, и он постепенно пришёл в упадок. Его почти за бесценок выкупил и привёл в порядок муж Анастасии Александровны, торговавший бытовой техникой, и поселился здесь с семьёй. К несчастью, пять лет назад он умер от воспаления лёгких, и теперь семья, разорившись, вынуждена сдавать комнаты отдыхающим. Дочь, кроме преподавания в музыкальной школе, подрабатывает ещё частными уроками, иначе им всем пришлось бы туго.

Я обошёл оба этажа, но подходить к двери, ведущей в башню, хозяйка мне не позволила.

Два дня я бродил по окраинам города, выискивая уголки, интересные для художника. Город и в самом деле оказался очень живописным. Завтракал и ужинал я у Анастасии Александровны, а обедал в кафе «Сириус», где кормили дорого, но вкусно.

На второй день за ужином я обратился к хозяйке с вопросом, нельзя ли мне завтра подняться

на башню, чтобы осмотреть окрестности с высоты. К моему удивлению, лицо Анастасии Александровны как-то сразу окаменело, взгляд стал жёстким, и она ответила мне голосом, в котором явственно зазвенел металл:

– Ни в коем случае!

Потом, словно спохватившись, смягчила тон:

– Понимаете, Алексей Николаевич, эта башня давно заброшена, Полы там прогнили, лестница давно обрушилась, так что подняться туда невозможно.

Её реакция на мою просьбу удивила меня своей резкостью: за эти два дня я как-то успел привыкнуть к её доброму тону, мягкому голосу. Странно: ведь прошлым летом мой друг не раз поднимался на башню, и всё там было в порядке.

Часов в одиннадцать ночи я вышел во двор покурить. Сел на скамейку и задумался. В доме ещё не спали, на кухне светило окно, и оттуда доносился звон посуды и приглушенные женские голоса.

Я залюбовался звёздным небом. На юге звёзды кажутся особенно крупными, в то время как в Москве их почти не видно: их закрывают высокие здания и гасят огни фонарей и световой рекламы. Здесь же всё небо было усеяно звёздами. На северо-востоке сверкало созвездие Кассиопеи, похожее на латинскую W, и Большая Медведица. Я всегда любил Кассиопею и Орион, самые красивые созвездия нашего неба. Но летом Орион всходит только к полуночи. Я повёл взглядом вверх, чтобы отыскать созвездие Лиры с её голубой Вегой,

как вдруг неприятный холодок пробежал у меня по спине: окно в башне, куда, по словам хозяйки, невозможно было подняться, светилось, и в нём вырисовывался женский силуэт.

«Кто это? – подумал я. – Почему эта женщина скрывается там? И почему хозяйка сказала, что там полы прогнили и лестница обрушилась?»

В эту ночь я долго не мог заснуть, размышляя об увиденном, но разумного объяснения так и не нашёл.

Весь дом давно заснул, а я всё ворочался с боку на бок. Непонятная тревога овладела мною.

Вдруг где-то слева от моей двери послышались лёгкие шаги. Вот скрипнула половица, другая, третья. Я вскочил с постели. Под дверью показался слабый свет, потом шаги стали удаляться, и свет исчез. Я осторожно подошёл к двери и тихо приоткрыл её. По коридору шла высокая женщина в длинной ночной сорочке с зажжённой свечой в руке. Всего на какое-то мгновение я отвлёкся, чтобы посмотреть налево, не идёт ли там ещё кто-нибудь, а когда взгляд мой опять обратился к женщине со свечой, там была уже непроглядная тьма.

Заперев дверь на ключ, я долго лежал без сна с лихорадочно бьющимся сердцем. Сомнений не было: именно этот силуэт видел в окне башни.

Утром я пошёл по длинному коридору в ту сторону, куда ушло «привидение», и в самом конце его увидел узкую лестницу, ведущую на второй этаж. Так вот куда ушла та женщина со свечой!

За завтраком я никому ничего не сказал о ночном происшествии и вёл себя так, будто ничего необычного не случилось.

Часам к девяти я повесил на плечо этюдник и направился в город, туда, где нашёл живописный уголок улицы. Напротив второго дома меня вдруг окликнули:

– Эй, браток, зайти-ка на минутку, если никуда не спешишь.

Я обернулся: во дворе стояла инвалидная коляска, а в ней сидел молодой человек с ампутированными чуть ниже колен ногами.

– Ты остановился в том большом доме, что за рощей? – спросил он.

Я ответил утвердительно.

– Зря ты с этими людьми связался, об этом доме скверная слава ходит. Говорят, будто хозяйка – ведьма. Я-то во всю эту чепуху не верю, но люди много чего про этот дом болтают. Говорят, привидение там обитает. Рассказывают, будто у купца, что дом этот построил, дочка-красавица была. И вот влюбилась она в бедного студента, который её французскому языку учил, и хотела убежать с ним да тайно обвенчаться. А отец разговор их подслушал, и наутро студента в лесу мёртвого нашли. Зарезал его кто-то. Дочка купца с горя отравилась. С тех пор и бродит по дому, людей пугает. А хозяева молчат, боятся, что она постояльцев от дома отвадит.

Я рассказал ему о том, что видел прошлой ночью.

– Значит, это правда, – заметил он. – Нам, материалистам, конечно, трудно в это поверить. Но сейчас даже в газетах про «тонкий мир» пишут, про жизнь после смерти. И некоторые учёные о переселении душ заговорили.

Мы помолчали.

– А можно тебе бестактный вопрос задать? – спросил я.

– Валяй!

– Где ты ноги потерял, если не секрет?

– Какой тут секрет может быть? У нас, в нашей миролюбивой стране, найти только что-нибудь хорошее трудно, а уж потерять – всегда пожалуёста! Этим проклятым толстопузым буржуйам очень уж чеченская нефть по душе пришлась, а правительство у них в холуях ходит и, конечно, на этом деле свой хлеб с икрой имеет. А нас, серую скотинку солдатскую, зачем им жалеть? Вот и кинули нас на съедение чеченскому волку. Там и оттяпали мне задние лапки по самое не хочу. А теперь мне от щедрот своих коляску купить помогли в утешение: катайся, мол, парень, себе на здоровье! Не век же тебе на заднице прыгать. И гроши жалкие ещё платят, будто я ноги где-нибудь по пьянке потерял.

– А почему тебе протезы не сделают?

– Обещали, как же! Но у нас, как известно, обещанного три года ждут. Я думаю, чиновники давно уже отпущенные на таких, как я, деньги давно прокутили, видишь в телевизоре, какие они ряшки нажрали? К счастью, есть у меня друг Толя Хомутов, из одного котелка солдатскую кашу ели,

не раз в бою друг друга выручали, вместе в госпитале лежали. Но он вернулся с руками и с ногами, а теперь они с отцом выгодное предприятие имеют, так что люди они обеспеченные. Он деньгами мне помогает и протезы заказал. Вот как привезёт их осенью и я научусь на них скакать, как кузнечик, подамся в городскую газету, я и сейчас понемногу с нею сотрудничаю. Я ведь журналистику в Ростовском университете изучал. Кстати, пора нам с тобой познакомиться. Меня Сергеем зовут. Сергей Полежаев.

Я назвал себя. Мы посидели ещё минут десять и попрощались.

– Заходи ещё, – предложил Сергей. – Посидим, выпьем. Знаешь, какой мама самогон гонит? Почище дорогого виски будет.

Я обещал ему зайти и пошёл в город.

3

На третий день в доме поселился пожилой мужчина, со шкиперской бородкой и чёрной повязкой на левом глазу, настоящий пират, какими их изображают в авантюрных романах и показывают в кино. Звали его Ипполитом Петровичем. Оказалось, что глаз он потерял в Афганистане ещё в 1987 году.

Поселили его в комнате рядом с моей. С ним мы как-то быстро нашли общий язык, несмотря на разницу в возрасте.

В первый же вечер сидели в его комнате за бутылкой коньяка, которую он вместе с серебряными стаканчиками извлёк из своего огромного

чемодана. Мельком я успел заметить там морской бинокль и жёлтую кобуру с пистолетом.

– Это травматика, – сказал Ипполит, поймав мой взгляд. – Резиновыми пулями стреляет. Но вещь полезная: как-то напали на меня трое гавриков, так стоило мне над головами их разок пальнуть, и они побежали от меня «быстрее лани, быстрее, чем заяц от орла».

На столе в золочёной рамке стояла фотография красивой девушки с коротко стриженными волосами.

– Кто такая, если это не военная тайна? – спросил я.

– Моя бывшая жена, – ответил Ипполит. – Ушла от меня, Квазимодо несчастного, к одному красавчику режиссёру. Он, правда, потихоньку спивается, но она его любит. А вот я всё никак забыть её не могу. Потому больше и не женился, живу бобылём, как в старину говорили. Зато свободен как ветер. Нанялся матросом, обошёл полсвета, добирался до Сингапура, побывал в Буэнос-Айресе. Потом служил помощником капитана на сейнере. В общем, своей жизнью я доволен.

Я рассказал ему про вчерашнее привидение.

– Ну, в привидения я давно не верю. Это был кто-нибудь из наших соседок за столом. – Может, Людмила, может, Маша, а может, и сама хозяйка. Мало ли лунатиков на свете, гуляют, где хотят, даже по крышам. Мне пришлось как-то пожить с месяц в одной комнате с лунатиком. Ну, скажу тебе – потеха, правда, немного жутковатая!

– Но кто-то всё-таки живёт в башне, – сказал я, – хотя хозяйка убеждала меня, будто взобраться туда невозможно: лестница сгнила.

– А вот это мы скоро узнаем. Не такие загадки мне приходилось разгадывать. А про привидения можешь мне не рассказывать, я в них только в детстве верил. А давай-ка лучше выпьем ещё по рюмочке, да и на боковую, время-то уже довольно позднее. Услышишь подозрительное что-нибудь – стучи мне в стенку. Изловим это чудюдо, в клетку посадим и будем за деньги на базаре показывать.

Мне долго не спалось, и я уже подумывал, не встать ли мне с дивана и не почитать ли книгу. А потом вдруг провалился в глубокий сон без сновидений и проснулся только в семь часов утра, отдохнувший и посвежевший. Гуляло ли в эту ночь «привидение» по дому, не знаю, потому что ничего не слышал.

Весь день я писал этюды и вернулся на квартиру лишь после захода солнца.

Ужин прошёл спокойно. Только вот Михаил Ашотович был почему-то мрачен и анекдотов на этот раз не рассказывал. Роберт ел, как всегда, низко наклонив голову и лишь иногда бросая на нас с Ипполитом, сидевшим рядом со мной, косые взгляды. Зато Маша беспрестанно щебетала, улыбаясь то мне, то моему соседу. Похоже, что именно это и злило Роберта: он был явно по уши влюблён в певичку.

Вечером небо затянуло туманной пеленой, сквозь которую едва просвечивало созвездие Кассиопеи и несколько крупных звёзд.

Мне захотелось прогуляться в кленовой роще, где пахло травой и листвою и то здесь то там затевал свою однообразную песню сверчок. Где-то отвратительным хохотом разразился сыч и так же неожиданно оборвал свой смех.

Я шёл, дыша свежим вечерним воздухом, и тихонько напевал, как вдруг что-то просвистело мимо моего уха, и в ствол клёна впереди меня с мягким стуком вонзилась оперённая стрела. Резко обернувшись, никого не увидел, однако четко услышал звук убегающих ног.

Я выругался, но гнаться за стрелком не стал: в незнакомой местности можно попасть в яму и поломать ноги. Выдернув стрелу, я разломил её на три части и бросил в кусты.

«Странно, – подумал я, – живу здесь всего четыре дня, а уже успел кому-то до смерти надоесть! А может, меня приняли за кого-то другого?»

Вернувшись на квартиру, я рассказал об этом происшествии Ипполиту.

– Ишь ты, – удивился он, – оказывается, в нашем лесу свой Робин Гуд завёлся! Или Джон Мщуща-за-всех. Значит, так: по ночам, как в песне поётся, «сиди дома, не гуляй», пока не выясним, что это за вольный стрелок объявился и чем ты мог ему не угодить. А если поймает его да в милицию сдадим, нам ещё спасибо скажут.

Утром разбудили меня раскаты грома. Дождь тихо шелестел в листве росшего под окном клёна.

Вдруг ослепительным синим огнем полыхнула молния, ударившая где-то поблизости в землю, и тотчас грянул оглушительный раскат грома, от которого всё во мне содрогнулось, и на землю сразу обрушилась белая стена ливня.

Из водосточной трубы, справа от моего окна, пенясь, хлестала вода, и там сразу образовалась большая лужа, сквозь которую просвечивала разноцветная галька и ярко-оранжевые, промытые обломки кирпича.

Ливень, сопровождаемый огненными вспышками и раскатами грома, продолжался минут двадцать, потом гроза отдалилась куда-то на восток, но дождь не прекратился, хотя и стал немного слабее. Он лил с перерывами весь день и весь вечер.

Я не люблю простоев, поэтому предложил Ипполиту написать его портрет. Он охотно согласился. Сделав несколько карандашных набросков, которые ему очень понравились, стал писать портрет маслом на грунтованном картоне.

– Уже темнеет, – сказал я, – завтра закончим. Кажется, этот дождь зарядил надолго.

– Ну и красавец! – усмехнулся Ипполит, посмотрев на то, что у меня получилось. – В детстве мне очень нравилась книга «Капитан «Старой черепахи» Льва Линькова, как сейчас помню. Там действовал один грек-контрабандист Антос Одноглазый, так я на него похож.

– Ты уж лучше себя с адмиралом Нельсоном сравни: тот тоже один глаз потерял.

– Ну, на Нельсона я не тяну: хоть и моряк, но не флотоводец, да и одна рука у меня лишняя, – рассмеялся Ипполит.

Вечер мы провели в моей комнате. Под монотонный шум дождя пили водку, закусывая солёными огурцами. Ипполит рассказывал о своих скитаниях по морям, красочно описывал далёкие экзотические города, в которых побывал. От него я впервые узнал, что Буэнос-Айрес носит длинное название: «Ла сьюдад де нуэстра Сеньора де Санта-Мария и де Буэнос-Айрес», что означает: «город нашей Пресвятой Госпожи Марии и попутных ветров», а сами «портеньо», то есть жители этого города, называют его коротко «Байрес». Ещё узнал я от него, что король одной из африканских стран, по имени Бокассу, с которым взасос целовался наш Брежнев, оказался самым заурядным людоедом.

Вечер прошёл весело. С каждым днём я всё больше привязывался к этому интересному человеку, так не похожему на тех, кто окружал меня в Москве, людей завистливых, себялюбивых, скучных. Около полуночи Ипполит стал прощаться:

– Ну, пора и на боковую, а то к завтраку не проснёмся.

Он ушёл, а я сел за стол и стал писать письмо Николаю Горбовскому о своих приключениях в этом странном доме, который он так горячо мне рекомендовал.

За окном по-прежнему шумел дождь, мелко барабаня по стёклам, по которым стекали сверкающие в свете лампы струи воды; листья клёна за окном беспокойно шелестели, и от всего этого было грустно и тревожно на душе.

Вдруг что-то за окном привлекло моё внимание. Я поднял глаза и похолодел: освещённое лампой, уставилось на меня жуткое лицо, словно из американского фильма об оживших мертвецах, – белое, с чёрными провалами глаз, в глубине которых горели два фиолетовых огонька. Мокрые волосы неопределённого цвета прилипли к щекам и плечам. Голова едва держалась на тонкой шее.

Это зрелище длилось всего несколько мгновений, но я и по сей день с содроганием вспоминаю, какой поистине суеверный страх испытал в ту ночь.

Призрак исчез, и я бросился к Ипполиту. Тот лежал на диване с какой-то книжкой в руках. Сбивчиво рассказал ему о привидении, так испугавшем меня.

Он вскочил и бросил книгу на диван.

– Захвати пистолет! – попросил я.

– Зачем? Против привидений помогает только молитва, а я ни одной не знаю.

– И всё-таки возьми. Может, хоть выстрела испугается.

Он открыл чемодан, выхватил из кобуры пистолет, взял фонарик, и мы выбежали во двор.

Мрак был непроглядный. На крыльце горел единственный фонарь, от окон наших комнат падали на землю квадраты света, всё же осталь-

ное скрывалось в темноте. Никого мы не увидели, никаких следов под окнами не оказалось. Ипполит дважды выстрелил в воздух, но из-за шума дождя звук получился негромкий. Мы обежали вокруг дома, шаря вокруг лучом фонарика, – везде было пусто. Одежда на мне совершенно промокла, по спине текли холодные струи воды.

По-видимому, услышав выстрелы, из дома выбежала Анастасия Александровна. Даже при тусклом свете фонаря было видно, что лицо её бело как мел.

– Что вы делаете? – отчаянно закричала она. – В кого вы стреляли?

– Ни в кого, – успокоил её Ипполит. – Я стрелял в воздух, чтобы прогнать какое-то страшилище, которое в окно к Алексею заглядывало. Думаю, больше это чудо-юдо к дому на километр не подойдёт! А представьте себе, что оно к вам или к девушкам заглянуло. Так и до инфаркта недалеко!

Хозяйка немного успокоилась.

– Пожалуйста, больше не стреляйте. Всех до полусмерти напугали, даже Робика и Михаила Ашотовича. А уж про девочек я и не говорю.

– А не могло тебе это просто показаться? – спросил Ипполит, когда мы переоделись и допили, чтобы согреться, оставшуюся водку. – В такую погоду что угодно почудиться может, особенно после двух рюмок водки.

– Да нет же! – рассердился я. – Видел это страшилище так же ясно, как тебя сейчас, лицо, как из гипса, глаза провалились до затылка. Брр!

– Значит, «завелась какая-то в державе Датской гниль», – процитировал он «Гамлета», и это удивило меня: этот моряк оказался довольно начитанным человеком. Он знал Робин Гуда (впрочем, кто же его не знает?) и даже стивенсоновского Джона Мшу-за-всех, он читал «Гамлета». Вот тебе и «скиталец морей»!

Ночью я проснулся от жутких воплей, от которых кровь стыла в жилах. Я вскочил с дивана – вопль опять повторился. Трудно было понять, что это: женский голос или кто-то неумело пытается играть на скрипке. Но очень это было похоже на человеческий голос, полный горя и отчаяния.

Я, как был в одних трусах, выскочил в коридор, откуда, как мне показалось, слышались эти вопли. Вслед за мной выбежал Ипполит, тоже в одних трусах, но с фонарём. Он осветил в одну сторону, в другую – коридор был совершенно пуст. Мы попытались открыть двери в пустующие комнаты, но все они были заперты. Постучались к Роберту, чья комната располагалась в нашем крыле здания. Он открыл дверь, сонный и вялый.

– Это не ты вопил сейчас? – спросил Ипполит.

– Вопил? Да я спал как убитый, потому что принял снотворное.

– А скрипка у тебя есть? – задал вопрос я.

– Скрипка? – удивился Роберт. – Какая скрипка? Откуда она у меня возьмётся? Я на ней никогда не играл.

– Ладно, ложись спать! – сказал Ипполит. – Извини, что потревожили тебя.

К вечеру следующего дня дождь так и не прекратился, и я закончил портрет Ипполита. За ужином он показал его хозяевам и постояльцам.

– Ой, Ипполит! – восторженно воскликнула Маша. – Вы на портрете ну как живой!

– Во всём своём великолепном уродстве! – рассмеялся Ипполит.

– А вы, Алёша, настоящий мастер! – продолжала восхищаться она. Маша уже всех, кроме хозяйки, называла запросто, по именам, как старых знакомых. – А почему вам, Ипполит, родители такое труднопроизносимое имя дали?

– Сам удивляюсь, как это они у меня спросить не догадались, – пошутил Ипполит. – Главное – от этого имени уменьшительного нет, вот я и страдал в детстве: меня Полей называли, как девочку. А вот в Марселе, где я полгода прожил, меня звали просто – Поль. Там это мужское имя в ходу. А у нас попробуй так себя назови – высмеют, скажут: «Ишь ты, а мужик с претензиями!» Это артисты могут себе самые сногшибательные имена придумывать, а нам, простому люду, это противопоказано.

– А что за стрельба вчера ночью была? – попытствовалась Маша.

– Да это мы с Алёшей ворон пугали: спать не дают, – отшутился Ипполит. – А что, испугались? Больше не будем.

Хозяева за столом помалкивали. Лишь Роберт искоса поглядывал – на этот раз на Михаила Ашотовича, а тот не поднимал глаз от своей тарелки. Мне показалось, что между ним и Машей что-

то произошло. Она то и дело хохотала по поводу и без повода, и при каждом взрыве её смеха Меликян вздрагивал и испуганно взглядывал на неё, словно опасаясь, что она выдаст какую-то его тайну.

В доме явно было что-то неладно. Анастасия Александровна настороженно прислушивалась к чему-то, словно страшась какой-то беды, Людмила совсем ушла в себя, Роберт почему-то злился неизвестно на кого.

Поужинав, на пару с Ипполитом пошли в его комнату (теперь окна мы оба закрывали на ночь газетными листами, чтобы ни у кого не возникло соблазна подсматривать).

– Что происходит? – задал я риторический вопрос.

– «Всё смешалось в доме Облонских». Похоже, что мы здесь лишние, и в то же время расставаться с нами не хотят: без наших денег им не на что будет дом содержать. Но есть в этом чёртовом замке какой-то свой скелет в шкафу, и хозяевам страшно, как бы мы о нём что-нибудь не пронюхали. А ты всё-таки на ночь дверь хорошенько запирай, так, на всякий случай: кто знает, что у этого прыщеватого Робики на уме. Ещё зарежет во сне, деньги заберёт – и поминай как звали. Что-то не внушает он мне доверия.

5

Утро на следующий день выдалось удивительное: чистым ультрамарином сияло небо, листва промыта была до изумрудной зелени, радужны-

ми огнями сверкала на траве роса, ликующе звенели птичьи голоса, на окраине города заливались петухи и слышался время от времени собачий лай.

По пути в город я зашёл к Сергею. Он смазывал за столом, стоящим во дворе, разобранный замок от входной двери.

– Да вот, заедать что-то стал, – объяснил он и предложил мне: – Зайдём позавтракаем.

Я сказал ему, что уже сыт.

– Ну, тогда пропустим по рюмочке мамино-го виски, я в одиночестве не пью – так можно спиться.

За первой рюмкой последовала вторая. Самогон и в самом деле оказался очищенным и ароматным: видно, был настоян на травах.

– А давай я тебя нарисую, – предложил я.

– Ну что ж, попробуй, – согласился он. – Меня ещё никто не рисовал.

Минут через сорок карандашный рисунок был готов.

– Здорово! – восхитился Сергей. – Лучше всякой фотографии.

Во время сеанса зашла речь о доме, в котором я поселился.

– Знаешь, – сказал Сергей, – много тут разных разговоров ходило об этой семейке. Хозяин не от воспаления лёгких умер, как Настя всем говорила. На самом деле его убили. Жулик он был ещё тот. У многих деньги брал под честное слово, а отдавать долги не любил. И вот у кого-то из его кредиторов терпение, наконец, лопнуло, и

его крепко отдубасили. После этого он так уже и не встал больше. А Насте, чтоб с его долгами расчитаться, пришлось все три его иномарки продать, оба магазина и офис. А вот дом она сумела как-то сохранить. А потом с дочкой её беда случилась.

– С Людмилой?

– Да нет, у неё ещё младшая была, Ольга. Я как раз в армии служил, потом в госпитале валялся, так что всё это мимо меня прошло. Да и потом, когда домой вернулся, не до них мне было: обеих ног лишиться – это тебе не фунт изюма. Долго в депрессии был. Знаю только, что с год назад она бесследно пропала. Красивая была девчонка, хорошо на скрипке играла. А потом исчезла, будто её и не было. Ни слуху ни духу до сих пор – видно, уехала куда-то далеко, даже мать не знает куда. Вообще-то, я на своей таратайке дальше магазина ближайшего не езжу, а в ту сторону – тем более. Но люди говорят, будто иногда откуда какие-то дикие крики доносятся: не то собака воеет, не то скрипка дурным голосом орёт. У них в семье мальчишка есть, хулиганистый такой, может, это он дурачится. А местные жители этот дом стороной обходят. Ох, боюсь, скоро там что-то страшное случится, какая-то тёмная сила из-под контроля выйдет – и горе тогда всем в этом доме будет!

О привидении, заглядывавшем накануне ко мне в окно, я рассказывать не стал: не хотелось, чтобы это стало известно соседям. Зачем поддерживать дикие суеверия?

– Спасибо за портрет, – прощаясь, сказал Сергей. – Рамку со стеклом я сам сделаю и на стенку повешу. А ты заходи ко мне в любой час дня и ночи, я всегда тебе рад. Нудно одному дома сидеть, ещё запьёшь от скуки. Мама на работе, отец от нас давно ушёл. Сажу или лежу и читаю, а то мастерю что-нибудь.

6

Как-то под вечер, возвращаясь на квартиру, я услышал звучащую из открытого окна музыку. Это были «Времена года» Вивальди, одно из любимых моих музыкальных произведений. Я сел на скамью напротив окна, поставил рядом этюдник и стал слушать.

Неожиданно в окне показался седой старик. Он долго смотрел на меня, и я, смутившись, хотел было уйти, но он сказал:

– Эй, коллега! Если хотите музыку послушать, заходите!

Я вошёл в мастерскую, у стен были прислонены полотна, на мольберте стояла незаконченная картина. Я осмотрел их. Это были пейзажи – городские и морские, написанные рукою мастера. Несколько преувеличенные цвета придавали пейзажам праздничный вид.

– Потрясающе! – воскликнул я.

– Вот, видите? А кое-кто в формализме меня обвиняет, гогеновским эпигоном величает.

– Я этого не нахожу, – сказал я, – работа тонкая, изящная. Гогеном здесь и не пахнет.

– Вот и я не понимаю, при чём здесь Гоген! Это же наша, русская природа: наши горы, наше море, каштаны, домики. Вот если б вы осенью на наши горы посмотрели! Это же не я всё это придумал – это разноцветье деревьев и кустов осенних, я их у природы взял. Есть тут у нас дама одна, искусствовед доморощенный, горластая, как попугай капитана Флинта. А злая, почище собаки Баскервилей! Помню, ещё в восьмидесятые годы выставил я обнажённую натуру, так она обрушилась на меня в печати не хуже, чем крыша в известном вам аквапарке «Трансвааль» на головы несчастных людей. Обвинила меня в оскорблении советских женщин, которые, в моём понимании, так бедны, что ходят голыми, в то время как коммунистическая партия неустанно заботится о том, чтобы они были модно одеты и счастливы. Даже сейчас ей не пейзажи подавай, а трудовые будни: стройки, машины, рабочих в касках, комбайны на полях. Ну никак она от своих коммунистических замашек не избавится. Ладно, Бог с ней, меня от её нападок не убудет!

Однако видно было, что подобная критика всё-таки задевает его самолюбие.

– А не тяпнуть ли нам по стопочке коньяка? – предложил он. – Кстати, зовут меня Максим Андреевич Карпов. А вас?

– Алексей. Недавно сюда из Москвы на этюды приехал.

– А знаете, Алёша, по субботам у меня в мастерской местная богема собирается: художни-

ки, поэты, артисты. Ну где ещё мы можем похвастаться своими новыми «шедеврами», как не на таких сборищах? Где ещё мы можем наговорить друг другу столько комплиментов? Публика собирается самая пёстрая. Есть настоящие чудачки. Приходите в субботу: ей-богу, не пожалеете! Мы собираемся в пять часов вечера. Захватите с собой бутылочку чего-нибудь покрепче, это они любят.

В субботу я пришёл к Карпову, купив по дороге бутылку коньяка и кое-какую закуску. Гостей ещё не было. Вдвоём мы разложили складной стол, накрыли его клеёнкой, расставили стаканы, одноразовые тарелки, положили пластмассовые вилки.

Первой пришла поэтесса Анна Строкина. Увидев на мольберте незаконченную картину, она воскликнула:

- Вау!
- А что это значит? – ехидно спросил Карпов. – Одобрение или порицание?
- Ну, это междометие такое.
- И всё-таки, что же оно означает?
- Ну, удивление, восхищение.
- Это на каком же языке? – В голосе художника послышалось раздражение.
- Наверное, на английском, точно не знаю.
- А если не знаете, зачем тогда употребляете? Так скоро мы вместо «ура» будем «банзай» кричать.

Строкина совсем смутилась и притихла, спрятавшись за мольберт.

Стали сходиться гости

Все здесь были знакомы друг с другом, и хозяин представлял им меня:

– Алексей, художник из Москвы, приехал к нам на этюды.

Каждый подавал мне руку, называл себя и спешил к накрытому женщинами столу.

Ко мне подошла высокая дама и представилась:

- Анжелика Сидоровна Лошак.
- Вы поэтесса? – спросил я.
- Почему поэтесса? – возмутилась она. – Я поэт. Причем поэт со стажем. Я издала одиннадцать поэтических сборников: «Анютины глазки», «Кружева», «Пылающая страсть», ну и другие.

Мне показалось, что это заглавия вполне женских сборников, и называть ей себя поэтом как-то уж слишком смело.

– Почему вы взяли себе такой псевдоним – Лошак? – спросил я.

– А это не псевдоним, это моя девичья фамилия. По мужу я Иванова, но Ивановых в нашей литературе – пруд пруди. А Лошак – фамилия редкая, соответствует русской – Конева.

Я усмехнулся про себя: писательнице надо бы в словари заглядывать, ведь лошак – это помесь жеребца с ослицей. Неужели никто из коллег не мог сказать ей этого?

В том, что она пишет именно женские стихи, причём не самого лучшего качества, я убедился, когда она прочла своё стихотворение. Запомнилось мне только одно четверостишие:

*Я жажду ласк твоих и сладких нег,
Мне голову кружит огонь твоих очей.
В объятиях твоих я таю, словно снег
Под жарким светом солнечных лучей.*

Как она попала в Союз с такими стихами, не понимаю. Впрочем, в Москве я знаю нескольких известных всей России поэтов, которые пишут ничуть не лучше. В Союз писателей СССР их приняли в своё время по одной-двум книжкам, доведённым до приемлемого уровня редакторами, но они, как были графоманами, так ими и остались.

Выпив ещё по стопке, художники стали снимать обёртки со своих полотен. Картины рассматривались очень внимательно. Почти все они, кроме трёх, представляли собой скорее раскрашенные картинки, чем произведения профессионалов, зато похвал авторы их наслушались вволю, и я вспомнил крыловские слова о Кукушке, которая хвалит Петуха за то, что хвалит он Кукушку. А вот те три картины, которые были написаны талантливыми живописцами, вызвали у их коллег едкие замечания. Ясно было, что делались эти замечания из самой обыкновенной зависти: бездарность высоко ценит себя и не любит тех, кто талантливее её.

Пришлось вмешаться мне. Я сказал, что эти произведения могли бы украсить любую столич-

ную выставку и не затерялись бы там среди лучших картин. Меня поддержал Карпов. Авторы их ответили нам благодарными взглядами, зато другие художники надулись и стали недовольно посматривать на меня: подумаешь, приехал тут нас учить! Мы и сами с усами, знаем, чего мы стоим!

Однако вскоре их внимание переключилось на спиртные напитки. Я же пить не стал: не люблю в чужом пиру похмелье.

Вскоре все основательно перепились, и в мастерской поднялся такой оглушительный гвалт, что я, потихоньку попрощавшись с Карповым, повесил этюдник на плечо и вышел на свежий воздух.

7

Следующие три дня прошли без особых происшествий. После завтрака я работал на улицах, не обращая внимания на толпящихся за спиной зевак. Потом мне захотелось посмотреть на город сверху, и я поднялся на гору.

Чудный вид открылся моему взору: узкие извилистые ленты улиц; игрушечные домики среди тёмной зелени акаций и каштанов; подобно крошечному жучку с красной спинкой, полз по одной из улиц, то и дело скрываясь под кронами деревьев, городской автобус. А над всем этим от вогнутой линии берега до выпуклой линии горизонта, словно большое овальное зеркало, сверкало под солнцем море. И зрелище это было столь грандиозно и прекрасно, что я чуть не

задохнулся от восхищения, смешанного с отчаянием: разве можно с помощью кистей и красок перенести эту красоту на холст?

Это были чудные дни, наполненные радостным трудом и душевным спокойствием. После атмосферы Москвы, тяжёлой от выхлопных газов, здесь дышалось так легко, что казалось, будто воздух чистой струёй вливается в лёгкие, наполняя меня энергией и желанием работать.

В этот вечер, весело насвистывая, возвращался я на квартиру. Подходя к дому, вдруг увидел то, от чего моё сердце на несколько мгновений остановилось, а потом забилось лихорадочно-часто: у крыльца стояли милицейский «уазик» и «скорая помощь», рядом курили два милиционера.

– Что случилось? – спросил я у мордастого сержанта.

– А вы художник? В этом доме живёте? – вопросом на вопрос ответил он, и когда я кивнул, потребовал: – Тогда пройдите в столовую, там вас следователь ждёт.

За обеденным столом сидел немолодой человек, одетый в гражданский костюм и в рубашку без галстука. Он предложил:

– Садитесь, пожалуйста. Я следователь, Буланов Иван Петрович.

Я сел напротив него. Он задал мне несколько вопросов о том, кто я, чем занимаюсь и давно ли здесь живу.

– А в чём дело? – спросил я.

– Сегодня нашли в лесу труп одного из постояльцев этого дома, – он посмотрел в свои записи и уточнил: – Меликяна Михаила Ашотовича.

Я вздрогнул от неожиданности. «Не Робика ли это дело?» – подумалось мне. Ведь в последние дни Меликян с Машей улыбались другу другу и, удалившись от всех, ворковали о чём-то. Роберта это невероятно злило, и кто знает, что было у него на уме.

Оказалось, что около двенадцати часов дня одна женщина, идя через рощу, наткнулась на тело мужчины, лежавшего ничком. Под левой лопаткой у него торчала стрела с розовым оперением. Ипполит сказал следователю, что попытка подобного покушения была совершена в той же роще на меня несколько дней назад.

– А где стрела? – спросил следователь.

– Я её сломал и в кусты бросил, – ответил я.

– Можете показать мне эти обломки?

– Конечно.

Мы пошли в рощу. Обломки стрелы оказались на месте. Следователь внимательно осмотрел их и положил в полиэтиленовый пакет.

– Оперение за эти дни немного выцвело, но видно, что оно розовое.

Потом, помолчав, добавил:

– Полгода назад в спортивном клубе был похищен лук и десяток стрел. Вора так и не удалось найти. Так вот, все эти стрелы были с розовым оперением. Как вы думаете, кто мог стрелять в вас?

– Не знаю, – растерянно ответил я. – Сам долго ломал над этим голову. Никому здесь насолить я не мог: ведь это случилось на четвёртый день после моего приезда.

– А что вы думаете о сыне хозяйки Роберте? Он как-то странно себя ведёт, на вопросы отвечает путано. Не мог ли он убить Меликяна?

– Но почему?

– Из ревности, например. Ваш сосед Ипполит говорит, будто Роберт влюблён в Марию Калинникову и в последние дни сильно ревновал её к Меликяну. Мы обыскали его комнату, сарай, гаражи, все пустые комнаты – никакого намёка на лук и стрелы. Но, на всякий случай, я задержу Роберта и допрошу. Потом мы доставим его обратно. А вам спасибо за содействие.

«Скорая» увезла труп Меликяна. Анастасия Александровна рыдала у себя в комнате, дочь её тоже плакала. Маша заперлась и даже не вышла к ужину. Мы с Ипполитом сидели вечером у меня, пили коньяк и обсуждали это трагическое происшествие.

– Видно, пора нам драпать отсюда, пока не перебили, как рябчиков, – сделал вывод Ипполит.

Выпив еще, надолго замолчали.

– Впрочем, мы ребята не робкого десятка, – вдруг заявил он. – Удирать от опасности не в нашей натуре. Нет, пока не докопаемся до разгадки, я с места не сдвинусь.

– Согласен, – кивнул я.

– Вот и хорошо. Следовательно лук не нашёл. Башню он не осматривал, поверил, что туда хода

нет. А ведь там кто-то живёт. Какое-то привидение с распущенными волосами. Лестница сгнила? Хода туда нет? Но ты же видел однажды там свет и женский силуэт. А кто по коридору бродит, кто в окна заглядывает? У той особы, что в башне живёт, наверняка есть веревочная лестница, которую она спускает, когда нужно, а как вернётся наверх – поднимает. Давай-ка ночью последуем за хозяйкой. Не святым же духом это «привидение» питается. Уверен, что по ночам, когда все спят, Настя его едой снабжает.

– Каким образом?

– Ну, например, эта затворница (назовём её так) спускает на верёвке ведро, а Настя ставит в него судки с едой – я их на кухне видел, та их поднимает, а после еды спускает вниз грязную посуду. Ну, и, конечно, продукты своей жизнедеятельности.

– Пожалуй, ты прав, – сказал я. – Иного способа существования в этой башне я не вижу.

Часов в десять вечера следователь привёз Роберта, жалкого, заплаканного мальчишку.

– Не волнуйтесь, мама, он ни в чём не виноват, – успокоил Буланов Анастасию Александровну. – О луке и стрелах он ничего не знает, и я ему верю. Да и характер у него не такой, чтобы он мог убить кого-то, слишком он у вас слабovolен.

Мы с Ипполитом проводили его до машины.

– Мы догадываемся, кто убийца, – сказал Ипполит. – Но окончательный ответ сможем дать вам только завтра утром.

Следователь уехал.

– Итак, Алёша, – сказал Ипполит, – сегодня нам придётся с тобой недоспать. Подождём, пока все заснут, и пойдём в одно место, которое я недавно присмотрел. Думаю, что сегодня нам всё станет ясно как божий день. Так что спать не ложись, а потихоньку посиди часов до двенадцати в потёмках.

К полуночи весь дом затих. Свет выключили даже на крыльце. Ипполит просунул голову в мою дверь.

– Пора! – сказал он. – Сейчас мы устроим засаду. Окно у себя я отпер. Потихоньку вылезем наружу и обойдём вокруг дома. Часок-другой придётся посидеть возле башни. Уверен, что нынешней ночью мы с тобой узнаем всё, что нужно.

Так мы и сделали. Прислонившись спинами к стене сарая с тыльной стороны дома, стали ждать.

– Два дня назад, когда Настя с дочкой отправились в город за продуктами, а Роберт поехал на велосипеде на пляж, я открыл отмычкой замок двери, что в башню ведёт. Лестницы там и в самом деле нет. Зато я увидел, что перед входом в башню есть большая комната, на всю ширину дома, а окно только одно – с южной стороны. Вот у этого окна мы с тобой и дежурируем. Думаю, что ждать нам придётся недолго: Настя непременно понесёт затворнице еду. Ты только всё время по сторонам поглядывай, чтоб нас не подстрелили – сам понимаешь, что у меня, циклопа одноглазого, обзор небольшой. Пистолет я захватил, в случае чего есть чем стрелка пугнуть. Но я уве-

рен, что стрелок этот сейчас в башне сидит – ждёт кормёжки.

Примерно через полчаса за окном появился слабый свет. Он становился всё ярче и ярче, и вскоре мы увидели Анастасию Александровну с фонарём и судками. Она отперла дверь и скрылась в башне.

– А теперь смотри вверх, предупредил меня Ипполит. – Там должен свет появиться.

И в самом деле – окно в башне тускло засветилось: похоже, что там зажгли свечу.

– Ну вот, теперь всё ясно, – сделал вывод Ипполит. – Именно там живёт наше привидение. Но, разумеется, к отравившейся купеческой дочке оно не имеет никакого отношения, раз нуждается в пище. Это живое существо, и оно очень дорого Насте. И я не сомневаюсь теперь в том, что лук и стрелы находятся в башне.

Мы дождались возвращения хозяйки, влезли через окно в комнату Ипполита и улеглись в свои постели. В эту ночь я спал крепким сном человека, исполнившего свой долг.

Утром Ипполит позвонил следователю.

– Теперь мы не сомневаемся в том, кто убийца. Давайте через полчаса встретимся втроём в кафе «Южное», и мы вам всё расскажем.

В кафе Буланов очень внимательно выслушал мой рассказ о том, как я увидел женскую фигуру в верхнем окне башни, куда, по словам хозяйки дома, взобраться невозможно, потому что лестница, ведущая туда, разрушилась. О привидении

со свечой в коридоре, о женщине, похожей на мертвеца, заглянувшей ко мне в окно, о страшном вопле, который мы с Ипполитом слышали в коридоре. Ипполит дополнил мой рассказ историей о том, как мы сидели в засаде прошедшей ночью.

– Всё это очень интересно, – сказал следователь, выслушав нас. – Давайте соберемся здесь опять часа в четыре. Я должен кое-что проверить.

– Вы можете достать автоподъёмник? – спросил Ипполит. – Ну такой, с помощью которого фонари на столбы цепляют и деревья обрезают, чтоб во время бури они провода не обрывали. Другого способа добраться до верха башни я не вижу.

– Я всё сделаю, – заверил его следователь.

– Кстати, пусть ребята, что брать её будут, наденут бронежилеты.

– И это будет сделано. Я не хочу жизнью своих парней рисковать.

Когда мы в очередной раз пришли в кафе, Буланов уже сидел там, потягивая кофе.

– Я всё выяснил, – сказал он. – У хозяйки дома, где вы остановились, была ещё одна дочь, Ольга. Девушка была красивая, талантливая. В консерваторию поступать собиралась, по классу скрипки. Но прошлой осенью случилась беда: когда она после школы гуляла в роще недалеко от дома, её зверски изнасиловали трое пьяных подонков. Их сразу нашли и осудили, но случай этот сильно повлиял на её психику. Несколько месяцев она провела в психбольнице, а потом, когда ей стало немного легче, мать забрала её к себе. Всем она

говорила, будто девочка уехала в Москву, к тётке, а сама, как теперь стало ясно, держала её в башне, потому что болезнь опять обострилась. Ольга не хотела общаться с людьми. Именно поэтому она иногда спускалась вниз ночью, когда все уже спали. Кстати, в музыкальной школе она училась играть на скрипке и добилась в этом деле больших успехов. А те дикие звуки, которые вы услышали ночью, это её попытки сыграть что-то, но она на это уже не способна. Я поговорил с врачом, который лечил её. По его мнению, она ненавидит всех мужчин и мстит им. Видимо, именно она похитила в спортивном клубе лук и стрелы. Кстати, в клубе этом она не была чужим человеком: в восьмом и девятом классах участвовала в соревнованиях по стрельбе и даже добивалась призовых мест. Вы, – обратился Буланов ко мне, – чуть не стали её жертвой, хотя к изнасилованию не имели никакого отношения, как и Меликян. Но для неё вы были мужчинами, значит, несёте ответственность за то, что случилось с нею. Судя по всему, ей ещё долго придётся быть пациенткой психбольницы. А может быть, и до конца жизни, потому что она социально опасна.

Солнце уже садилось, когда к дому подъехали две милицейские машины и автоподъёмник. Двоих омоновцев подняли к окну башни. Прикладами они выбили раму, и один из них прыгнул в окно. Оттуда послышался нечеловеческий визг, и вскоре омоновец передал товарищу визжащую женщину в наручниках. Когда её вели к машине, она отчаянно вырывалась, так что двое дюжих

милиционеров с трудом удерживали её. Казалось невероятным, откуда у этой изможденной женщины могло взяться столько сил. Ещё двое держали Анастасию Александровну, которая рвалась к дочери и кричала:

– Изверги! Что вы делаете? Моя девочка ни в чём не виновата!

Вскоре автоподъёмник спустил на землю того омовца, который надел на её дочь наручники. Он вручил Буланову лук со стрелами и скрипку.

– А вот этой стрелой она хотела убить меня. Хорошо, что на мне надет бронезилет – стрела отскочила. Впрочем, она даже как следует натянуть тетиву не успела.

– Успокойтесь, мамаша, – сказал следователь хозяйке дома. – Вашу дочь лечить будут. Судить её не станут, несмотря на то, что она убила Меликяна и пыталась убить Алексея: она психически больна и не может отвечать за свои поступки. Молите Бога, чтобы её вылечили.

Анастасия Александровна разрыдалась, Роберт бросился её утешать. Милиционеры уехали, вслед за ними – автоподъёмник, а мы с Ипполитом пошли собирать вещи.

Утром, расплатившись с хозяйкой, вызвали такси и отправились на вокзал, зная, что Маша уехала накануне вечером. И уже через три часа мы с Ипполитом сидели в купе поезда, идущего в Москву.

– Ну и отдохнули мы с тобой у моря! – пошутил Ипполит. – Главное – скучать не пришлось.

Давно у меня не было такого захватывающего отдыха!

– А я всё-таки неплохо поработал, – сказал я. – По крайней мере, несколько пейзажей дома напишу. Жаль только – не удалось написать вид на город и море с горы. А хозяйку мне жаль. Вряд ли она догадывалась о том, что её сумасшедшая дочка ночами охотится с луком на мужчин. Теперь, думаю, она всю жизнь терзаться будет из-за того, что оказалась невольной виновницей смерти Михаила Ашотовича

На следующей станции в купе подседа пожилая супружеская пара, и мы замолчали. Мне было грустно. Жалел я не только о том, что не удалось мне сделать всё, что было намечено, но и о том, что не сумел перед отъездом попрощаться с Сергеем и с Карповым. Правда, у меня есть их адреса, и по возвращении в Москву я непременно напишу им.

Море и горы остались далеко позади. Вдоль дороги потянулись пшеничные поля, проплывали мимо скифские курганы, поросшие седым ковылём; потом открылось глазу синее зеркало реки между высокими зелёными камышами; одно за другим убегали назад белёные хаты сёл, теряющиеся среди густой зелени садов. Стучали на стыках рельсов колёса, позвякивали в тонких чайных стаканах ложечки, и свежий ветерок из открытого окна приятно освежал моё лицо.

РАННЕЙ ВЕСНОЙ

На полянке, где тень
от валежника,
Белых брызг торжествующий
взлёт –
В сосняке появились
подснежники...
Так бывает всегда каждый год.

Небо вешнее ими любит...
Хоть обычно – лишь скромно
молчит.
Что хотелось душе,
то и сбудется!
Знаю точно... Ну, может,
почти...

Не кручинься, гуляя по берегу,
А прислушайся к музыке дня...
Я когда-то в такое не верила,
Да потом оказалось, что зря.

Да потом оказалась нежданной
Перекличка весенняя птиц
Как хранителей тайных
желаний
И предвестников летних
зарниц.



**Тамара
ЛАНГУЕВА**

Поэзия



Полыханье зарниц – знак прелюдии
Для дождей над пространством лесным
И для гроз, с их ночными причудами,
Под загадочным взором луны.

... Мир весной ото сна пробуждается.
Март шагает по стёжкам земли,
И аккорды звенят, как рождаются...
И подснежники светят вдали.

Ускользящая даль
горизонта...
Словно долгая печаль –
вести с фронта.
Летний дол грозой прошит.
Хоть бы сдюжить!
Как играет с нами Жизнь,
как уютит!..
... Вороги сошлись в кольцо,
точно вепри.
Резкий ветер бьёт в лицо,
дышит смертью.
Только рано умирать.
Надо выжить!
Уж крадётся хищный тать
к дому ближе.
Русь теперь горит в огне.
Плачет, стонет...
Жизнь по-прежнему в цене:
вечность стоит.

Пригорки, овраги, дороги,
Просёлочные колеи.
И всюду цветы-недотроги...
И грустные мысли мои.

Уже не окликнуть подругу,
Щекой не прижаться к отцу...
Их нет... Я блуждаю по кругу:
От речки к родному крыльцу.

И так, потихоньку шагая
По кочкам и скользким камням,
Я в детство своё проникаю,
К моим незабвенным корням...

И многое кажется странным,
И многое тянет назад:
Прогулки сияющей ранью,
И дом, и с вьюнком палисад.

Росла я простушкой болтливой,
Большой фантазёркой слыла...
Со всеми была шаловлива –
Понять лишь себя не могла.

... На полукольце расстоянья,
Рукой утираю слезу.
Как истинный плод покаянья,
О детстве я память несус...

Отблески фонарей.
Сумрак ночного бархата.
В дверь постучи скорей!..
Или она распахнута?

Бродит в портьерах дрожь...
Мир состоит из дрожи.
Не говори, что ложь
Правды всегда дороже.

Снова зовёт луна
Нас погулять по крышам.
Страх из осколков сна
Рядом скользит неслышно...

Не говори, что ты
Стал и добрей, и чище.
Канули все мечты,
Как наши дни в Мытищах.

Серебро полыни...
Ласковое лето.
В роще бродит ветер
молодой, несмелый.
Слышен треск сороки
за рекою где-то...
Запах земляники.
Знать, уже поспела.
...Серебро полыни,
оберег мой давний,

ты свети мне вечно
на земле любимой,
чтобы утром ранним
распахнулись ставни;
хвори и печали
пролетели б мимо.

Летят через лес поезда,
Блистая железной кольчугою...
Озёр голубая вода
И веточки елей упругие...

Карелия. Молодость. Смех...
Рюкзак тарахтит за плечами
И воздух отчаянно свеж,
И ясное небо над нами.

Ещё не упали снега.
Луга зелены и отверсты...
Онеги стальной берега.
Берёзки светлы, как невесты...

Лазурь небесная над степью
и облаков крылатый бриг...
Прошли глухие лихолетья,
как бы один затменья миг.
Во всех ложбинках колосится
с весёлым шелестом трава.
Пленяет май зелёным ситцем –
и вновь кружится голова

от запахов цветочной пыли,
тягучих звуков птах земных,
от блеска небыли и были
кубанской знойной стороны.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СУФЛЁР

«Под маской грима – гиря скорби» -
Гласит пословица актёров.
А кто измерил скорби сколько
У театрального суфлёра?..
Когда погаснут люстры в зале,
Садится он, для всех не зримый...
И сцену «трогает» глазами,
Тревожным взором пилигрима.
И для него как будто новы
И декорации, и лица...
Похож театр на подкову,
Где место счастьем поселиться.
...О, память сердца, боль живая!
Война... и пьеса в час бомбёжки,
И корка чёрная ржаная
В пустом кармане бьётся, бьётся...
...Актёрам – слава и признание,
И жизнь в придуманной стране,
А для него спектакль – свиданье
С самим собой наедине.

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ

Нет, сделано не всё,
наверно, очень мало,
ведь жизнь моя ещё
горит лишь вполнакала!..

Мне грезится... Бегу,
как в детстве за трамваем...
Взбираюсь на ходу,
за поручни цепляясь.

И вижу я Кубань...
Встаёт над нею солнце.
Малиновая рань
вызванивает сонно...

Летит в рассвет трамвай,
сливаясь с вихрем ветра,
вдоль берега, меж свай,
бетонных, неприметных...

И знаю я, что нет
в степном краю трамваев,
но розовый билет
кондуктор мне вручает.

На розовом листке
есть серия и номер...
Билет держу в руке,
как пистолет с патроном.

... Клочок бумажный тот
лишь мне был предназначен,
в нём месяц, день и год –
предвестники удачи.

СОЛДАТКА

Утром сказала с улыбкою
скромной:
«Все мы войною повенчаны...»
Жаль, что была мне почти
незнакома
эта красивая женщина.

Сало и хлеб уложила в котомку.
Нежно шинель мою тронула:
«Славно, герой, если ждёт тебя
кто-то.
Я дождалась... похоронку...»

Взглядом чужим полоснула,
как бритвой.
Поцеловала застенчиво.
Сколько уж лет я пытаюсь
забыть её,
эту красивую женщину.

* * *

Вот и пришла ко мне
попрощаться
осень,
пьесу итожить без декораций
бросив.



**Олег
ВОРОПАЕВ**

Поэзия



В недрах души пересейла дочиста
грязное
и превратила моё одиночество
в праздник.

* * *

Она ожидала принца,
а появился поэт.
Принц возведён в принцип.
Поэту сказано – нет!

«Подумаешь, цаца какая!» –
не растерялся поэт
и проводил, не мигая,
брошенный ветру сонет.

Принц, окрылённый и шумный,
прибыл из царства бурь,
бросив к ногам её шубу
из горностаевых шкур.

Шуба – приятная малость!
В шубе тепло в холода!
Для видимости поломалась
и вскоре сказала – да!

Дальше – уж верьте, не верьте –
я приоткрою секрет.
Поэт предлагал ей бессмертье,
но выброшен был сонет.

* * *

Лес откликался шёпотом,
и догорали звёзды.
Я наконец нашёл её,
но оказалось поздно.

В утренний час об руку
с женщиной, мне обещанной,
плыли, касаясь облака,
перед разлукой вечной.

* * *

Отступись! Не своди с ума.
Не хочу быть обманут снова.
Облетевшие деревья
стерегут разящее слово.

В этом слове и грязь, и боль,
и разбитый бокал на счастье,
и твоя непростая роль –
с тонкой ниточкой на запястье,

с обещаньем зелёных глаз
отказаться, уйти, уехать,
и простуженным дерзким смехом
возвратиться... в который раз.

* * *

Гарь тепловоза. Медный свисток.
Тени вокзала.
«Мне говорили, что ты жесток...» –
глухо сказала.

Приобняла на моё «прощай».
Перекрестила.
«Знаешь что, больше не приезжай.
Я отпустила.

Кто-то ошибся. Ты не жесток.
Ты равнодушен...»
Тихо струился первый снежок
в чёрные лужи.

* * *

Помнится, что остывшей была зола
в доме, где двери настежь отворены.
Жаль, что она никогда меня не ждала
у очага. Ни с этой, ни с той войны.

То уходила, то возвращалась вновь,
с полуулыбкой, прошлое не вороша.
И до утра дарила своё тепло,
и называла «милый». И я прощал.

Помнится, как сказала: «Вернись живой!
Только живые живым бывают верны...»
Жаль, что она другому была женой
и не ждала ни с этой, ни с той войны.

* * *

Прощались. В зените плыла луна.
Но вместо «спаси, сохрани»,
«Чего же хотел ты?» – спросила она.
И я прошептал: «Любви».

«Не слишком ли?.. – отшатнулась она. –
Я берегу себя для...»
«Смелей, дурачок! – подсказала луна. –
Она уже вся твоя!»

ПЕТЕРБУРЖЕНКА

Слегка улыбнулась и вновь перешла «на вы»,
а я подыграл: «Как скажете, ваше высочество...»
Надменно качались холодные волны Невы,
и сердце немело от завтрашнего одиночества.

Казалось бы, вечер. Казалось бы, столько тем.
И я осторожно спросил про шрам на запястье.
«Ах, это! Любила... а он не любил совсем.
Не помню уж как... Но помню, хотелось
счастья».

И были пьянящие слёзы, и был восторг,
и созерцание, как падают на воду сонные чайки.
Но я уже знал, что ночь разведённых мостов
ещё никого не спасла от отчаянья.

* * *

Вот и дрова добыл,
чтоб затопить печь.
Только б достало сил
письма твои сжечь.

Письма твои честны.
Письма твои – лёд.
Где целовались мы,
ветер траву гнёт.

Через лесной простор
кличет птенцов выпь.
Мне бы под этот стон
губы твои забыть.

* * *

Жаль мне стареющих женщин
и одиноких мужчин.
Сердце, рубцом отмеченное,
не замирай, стучи.

Что из того, что грубыми
были мои слова?
Нежность искали губы.
Ясности – голова.

Время переиначило
строки, судьбу, страну.
Но для тебя что-то значил я,
наперекор всему.

ИСПАНСКИЕ СНЫ ЛУИСА МАРТИНЕСА

(отрывок из повести)

1

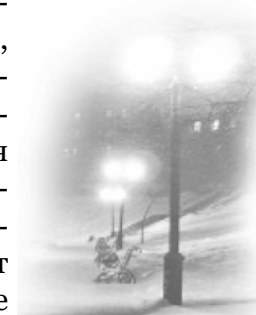
Наверное, вся жизнь когда-нибудь может показаться сном. Сумбурным и ярким, порой кошмарным, иногда волнительно-радостным, кратким, непонятным. Но бывает, что пронзительное чувство тревоги во сне достигает апогея, перевешивает предыдущие впечатления и забирает все силы на то, чтобы зацепиться за действительность, сделать один-единственный вдох. Не провалиться в черную давящую пустоту безвременья, а проснуться от ударов собственного сердца, как от набата, и открыть глаза. Или же просто нырнуть из медленной фазы сна в быструю.

Такой калейдоскоп почему-то не надоедает. Хотя бывает и так, что сон повторяется, один и тот же, и ты как загнанный летишь по спиралевидно-



**Екатерина
ПОЛУМИСКОВА**

Проза



му тоннелю туда, где маячит свет, хотя ничего не можешь изменить, потому что всё происходящее в этом сне на самом деле уже случилось. Но только так, со стороны, можно получше рассмотреть ту реальность, которую поправить нельзя и которую из-за фантастической скорости событий ты постичь так и не успел....

Успел – не успел... Хм... Что есть успение?

Это и есть сон. И ещё – успех, успешность, успеваемость, за которой следует очередной кадр из жизни либо стоп-кадр по имени Вечность.

И ещё – большой церковный праздник Успения, который приходится как раз на 28-е августа.

Мать в этот день откладывала домашнюю работу и молча молилась перед иконой Пресвятой Богородицы. Взгляд её, глубокий и отрешенный, почему-то всегда вспоминался в трудные минуты. Казалось, что мать молилась и мгновенно старела, а потом за считанные минуты лицо её светлело и молодело, морщинки разглаживались, неуловимая улыбка скользила в уголках губ. И эта метаморфоза повторялась всякий раз, завершаясь кратким «Аминь!». Иван привык и даже перестал удивляться тому, как быстро меняется лицо матери. Когда оно старело, казалось, что ничего невероятного в этом и не было, а когда молодело на глазах – он просто радовался, не думая ни о чем.

А зачем думать о том, что нет ничего на свете более постоянного, чем это счастливое мгновение, напоминающее, что ты живешь?

Минуло два года с той роковой минуты, которая обозначила новую точку отсчета в его судьбе и одновременно – точку невозврата, тот самый двойной морской узел, на который теперь наматывается суровая нить всей его последующей жизни.

Нет, бессонницей это назвать было бы неверно. Он проваливался в сон так же быстро, как погружалась в морские глубины его подводная лодка «Гарибальдиец» класса минных заградителей типа «Ленинец». Это потом, после 15 сентября 1934 года, она получит новое литерно-цифровое обозначение и станет называться просто Л-4. Но сначала был конец августа, и перед взором до самого горизонта расстилалась перламутровая гладь Севастопольской бухты...

Обычно на юге страны конец августа открывает «бархатный сезон», воздух прозрачен и слит с морем, теплым, как парное молоко. Духота и спокойствие, к тому же, вторую неделю стоит штиль. Светает уже не так рано.

До момента, когда сон начнет вертеться, как заедающая на одном и том же месте пластинка, была самая обыкновенная ночь с приготовлениями, затем срочное погружение, весь день шла отработка задач в заданном квадрате на заданной глубине семьдесят метров. И вот теперь время становится вязким и густым, как молочный кисель.

Стремительно нарастает жара. Он, помощник командира дизель-электрической подводной

лодки капитан-лейтенант Иван Бурмистров, идёт по отсекам. Во втором видит своего стажера – курсанта Касаткина, одного из трёх на сегодня прикрепленных к нему. Смотрит сверху вниз в его раскрытую тетрадь с конспектом и расчетами.

Тот вскакивает:

- Товарищ капитан-лейтенант...
- Отставить. Отдыхай. Где Лыгин?

Взгляд у Касаткина воспаленный, как у больного ангиной, на лбу выступают капельки пота. Но отвечает он четко:

- Не могу знать. Где-то здесь.
- Устал?

В ответ тот пожимает плечами:

- Жарко, искупаться бы в море сейчас.
- Вернемся в базу, искупаемся. Ты расчеты заверши. Задача в три действия, а ты всё никак...

На лодке сегодня много стажеров. Экипаж 54 человека и ещё 24 стажера. За ними глаз да глаз нужен. Лодка типа «ленинец» – одна из самых крупных, но с непривычки этим будущим покорителям глубин она могла показаться невероятно тесной из-за огромного количества приборов, трубок и медных шлангов, клапанов, рычагов и узких люков, ведущих из отсека в отсек и делающих внутреннее пространство почти непроходимым.

Для упрощения процедуры ознакомления новичков с устройством субмарины обычно применялся испытанный способ – когда кто-то из них, протискиваясь в отсеках, ударялся

обо что-нибудь лбом, носом, плечом, рукой или ногой, приходилось с невозмутимым видом скороговоркой констатировать: «Курсант Касаткин, а это привод вертикального руля глубины. Или – это клапан вентиляции. А вот курсант Лыгин, не заметив открытого люка, шагнул и провалился по пояс в аккумуляторное отделение второго отсека».

Помощник командира, вспомнив про этого стажера-неудачника, повторяет свой вопрос:

- Так куда запропастился курсант Лыгин?
- Не могу знать, товарищ капитан-лейтенант.

Куда он денется?

– Верно. Куда он денется с подводной лодки... Касаткин, Орлов! Живо в кормовой отсек, найдите Лыгина. Зачет буду принимать сразу у всех троих. Час на подготовку. Время пошло.

Да уж, дисциплина здесь нужна строжайшая. А жара просто дикая. Все явились на службу как положено – в формах, но теперь, после целого дня интенсивной работы не грех и расстегнуть китель, стащить всё с себя, переодевшись в холщовый комбинезон, но что молодежь-то подумает.

Оно и понятно – застёгиваться на все пуговицы и крахмалиться здесь просто невозможно. Физически невозможно.

Он сам быстро привык к жаре, освоился легко и не испугался тяжёлой работы – не зря же с малолетства вкалывал в засольном цехе на кожзаводе. После полной смены, бывало, с ног валился, но выдерживал, семье помогал, когда отец почти

ослеп. И здесь, в море, под водой на «железе» – это работа, сложная и тяжелая. Привык.

Старший механик подводной лодки Букач, которого все по-свойски звали Букой, посмеивался, глядя на курсантов:

– Ну, что, котики морские! Привыкайте – здесь всё наоборот, особенно время. Самая работа – ночью, когда всплываем на поверхность для зарядки аккумуляторов и оказываемся наиболее уязвимыми для противника. Поэтому в распорядке дня всё перевёрнуто: завтрак – в шесть вечера, обед – в полночь, ужин – в шесть утра. И хорошо, как если штаны на вас продержатся до обеда. Потом придется всё скинуть, а на трусы нашить нашивки, вместо погон. Иначе как вас отличишь в полумраке.

– Бука, не пугай хлопцев, – миролюбиво отозвался Бурмистров.

Эх, молодёжь... Самому-то сейчас тридцать три, возраст Христа. А тогда, два года назад, в тридцать четвертом году, когда всё это случилось, и того меньше было. Но опыта набрался достаточно, чтобы курсантам что-нибудь объяснить, как говорится, на путь истинный наставить.

Ведь у многих «непосвященных» даже сама мысль о подводниках уже вызывала неподдельный страх. У Ивана такого предубеждения не было никогда. Наоборот, ему самому в начале службы даже казалось, что погибнуть на борту подводной лодки вместе с товарищами из экипажа – это не так уж и страшно. Страшнее другое – одинокая

смерть пехотинца на поле боя, когда окружают враги со всех сторон, а у тебя всего один патрон.

И это уже случилось с ним в двадцатом году, когда довелось ему, тогда комсомольцу-«чоновцу», конвоировать в одиночку двух бандитов с мосинкой в руках. Хватило тогда смелости виду не подать, что заряжена дедова винтовка единственным патроном, который он вообще-то приберегал для себя. Обошлось. Смотрел он исподлобья на мародеров, крепко сжав винтовку, что у тех даже сомнения не возникло – перед ними хоть и молодой, да бывалый охотник, не промахнется. Так и привел их в районную комендатуру. Отец потом посмеивался: «Что же ты за «чоновец» такой! Хорош охотник – с одним патроном за двумя зайцами бегать. А коли разбежались бы твои подопечные в разные стороны – что тогда? Эх, вояка...»

А тут, на подводной лодке, кругом свои люди, почти что братья, которых связало навек родство душ, общая морская судьба и ответственность – вместе выжить или вместе погибнуть за «други своя», и нет больше никаких «или».

Дышать тяжело. Всё вокруг как в тумане, и шум в ушах. Свет тусклый, аккумуляторы подвели раньше положенного срока, а ведь почти три года с самого момента спуска лодки на воду, казалось, работали безотказно.

Иван останавливается, присматривается. Эх, время бы надо сверить на хронометрах у штурманов... Часов на руках у подводников не бывает,

так уж повелось. Это на земле вроде как принято за отличную учебу или службу награждать именными часами – то серебряными, то золотыми. А на глубине другие часы, одно время на всех. В штурманской рубке можно уточнить, если что. Ни рассветов, ни закатов, только на 24-часовой шкале хронометра взгляд выхватит и сопоставит то самое земное время, с которым надо сверить начало или завершение поставленной командованием задачи.

И он снова в своём сотом или теперь уже пяти-сотом сне устремляется в первый отсек, привычным рывком успеваешь задрать люк, и тут...

Мощный взрыв потряс лодку, свет вырубился. Всё провалилось в темноту. Затем раздался второй взрыв. Субмарина вздрогнула всем своим железным туловищем и стала крениться на левый бок, как раненый гигантский ихтиозавр, словно пытаешься заглушить внезапную внутреннюю боль. И слышался лязг – это взрывной волной сорвал один из переборочных люков между отсеками.

Он знал лодку как свои пять пальцев, мог двигаться в любом направлении на ощупь и через несколько мгновений оказался в центральном. Аварийное освещение вскоре замерцало тлеющим, почти лампадным сиянием.

Сквозь шум работающих механизмов пробился голос командира Болтунова. Борьба за живучесть уже шла полным ходом.

Командир загравком почувствовал рядом с собой присутствие помощника, возникшего сзади, как призрак из зазеркалья, оторвался на

мгновение от устройства внутренней связи и скороговоркой выпалил:

– Взрыв аккумуляторных батарей и пожар во втором отсеке. Экипаж эвакуировать. Действуй!

Внешняя связь с берегом оборвалась.

Старший механик Букач уже продувал цистерны главного балласта воздухом высокого давления. Лодка медленно шла на всплытие – кормой вверх с дифферентом на нос, обнаруживая крен влево, затем зависла с перекосом, так и не выровняв положение.

Подняться на поверхность с исходной глубины погружения почти в 70 метров – это ведь не блохой скакнуть. Тем более, пожар в отсеке. Видимо, гремучая смесь рванула от перегрева и недостаточной вентиляции аккумуляторных ям.

Что теперь гадать. Надо попытаться вытащить всех, кто жив, через центральный рубочный люк.

Это только сначала может показаться, что под водой всё движется в медленном темпе, плавно и размеренно. Но когда в лёгких остается запас кислорода на один вдох, то человек проваливается в иное измерение, где скорость «слова и дела» почти равна скорости света.

Лишь пульс в висках отчаянно бьётся метрономом, диктуя свой ритм. Действовать на такой скорости в привычных условиях просто невозможно, но там, в горящем отсеке, наполненном адским пламенем и удушливым газом, приходится хватать смерть за горло, а там уж – кто кого...

Едкая смесь быстро распространилась по отсекам, застилая глаза. В горле такие спазмы, что все

внутренности выворачиваются наизнанку. Вода прибывает – значит возникла течь.

Противогаз не помогает, Иван срывает его и отбрасывает в сторону, закрывает лицо мокрой пилоткой, в два прыжка оказывается в центральной рубке и взлетает по трапу вверх. За ним остальные, кто ещё в состоянии двигаться.

Глоток свежего, нагретого солнцем воздуха придает сил. Солнце начинает клониться к горизонту, и он по его положению понимает, что сейчас около 16-ти часов с четвертью. Один мимолетный взгляд вдаль – на берегу заметно какое-то движение, наверное, поняли – с лодкой что-то не так.

Ах, как же медленно здесь всё делается! Хорошо, что поблизости всплыла Л-5 и уже идёт на выручку. Надо быстро возвращаться и спасать экипаж. Мысли неслись со скоростью метеора, а время измерялось длиной в один вдох.

Иван ринулся вниз, пробрался в кормовой отсек, подхватил потерявшего сознание матроса и потащил за собой к люку, вытолкнул на поверхность и кто-то наверху принял. Он снова скатился вниз по вертикальному трапу, чтобы вернуться за следующим...

Казалось, он нырял в чрево лодки бесчисленное количество раз, а в глазах стояли лица его трех стажеров – они живы или погибли от взрыва на месте? Касаткина и Орлова, этих своих стажёров с птичьими фамилиями, он заметил наконец на палубе, им удалось выбраться. Но куда же запропастился курсант Лыгин?

Спазм от разъедавшего легкие газа едва не вышиб сознание, заставил ещё быстрее двигать руками и ногами, хотя глаза выпирали из орбит...

И вот он вскакивает с кровати, словно извергая остаток того адского огня губами, как индийский факир в цирке, но вдохнуть удается не сразу. Слёзы брызгают из глаз, удушливый кашель распирает грудь, как будто там клокочет вулкан, готовый к извержению.

Именно так вырывался огонь на поверхность Черного моря в 1927-м, устремляясь горящими факелами в небо, а потом последовали подземные и подводные девятибальные толчки. И он это видел. А теперь он словно нахлебался этого кипящего моря вместе с факелами и никак не выдохнет, не выпустит этот огненный столб из своей горячей глотки.

Иван окончательно просыпается и вскакивает, обливаясь холодным потом, делает несколько глотков воды из металлической кружки, пытается унять спазмы в обожженной газовой смесью гортани. Жар мгновенно сменяется леденящим холодом, и глубокая октябрьская ночь принимает его в свои объятия.

Эх, закурить бы... Так ведь врачи строго-настрога запретили даже думать об этом. Может быть, чуть погода разрешат, когда подлечат немного. Но думать о том, что тогда произошло, невозможно запретить.

Сколько же опасностей подкарауливает подводников. А если что-то конструктивно не так заложено при создании этого чуда техники?

Конструкторы в один голос поясняют, что при зарядке аккумуляторов из электролита выделяется водород, который смешиваясь с кислородом образует гремучую смесь. Малейшая искра или даже просто перегрев могут привести к взрыву. Есть у водорода ещё одно опасное свойство – в смеси с хлором он может взрываться даже просто от воздействия света. А хлор интенсивно выделяется из аккумуляторных батарей при их заливании морской водой. Вот и поди теперь разберись, что там на самом деле случилось. Ведь от зарядки аккумуляторных батарей на дизельных подводных лодках никуда не деться.

Из 78 человек 28-го августа 1934 года на «Гарibaldiйце» погибли пятеро. Ещё одиннадцать пострадали. Говорили, что такого не бывает – два взрыва, пожар, сильный крен, а лодка всплыла и потери личного состава минимальны.

Да уж... Вот только решил он тогда твёрдо и бесповоротно – не будет его сын Толик подводником. Никогда! Но сам он уже принадлежит морю. Он теперь наполовину, одной ногой, одной своей частью души и тела уже не вырвется из его огненно-ледяных объятий. И присяга – это навечно.

Прошло два года.

Голос его осип, стал глуше и тише, и разговаривать он старается в самых крайних случаях, – больше помалкивает. А вот характер не изменился совсем. На берегу остаться не захотел, подлечился в лазарете и вернулся в строй, на железо. Когда командовал подлодкой А-2, отличился – впервые увеличил продолжительность

автономного пребывания под водой почти вдвое. Нарком Ворошилов лично вручил ему золотые часы в награду за службу. И всё же по ночам ему до сих пор снятся те «гарibaldiйцы», кого уже не вернуть – Бурдаков, Иртлич, Янич, Наврузов и... курсант Лыгин.

2

Сейчас идёт вторая половина октября 1936-го. Позавчера зачем-то срочно вызвали в Москву. Так срочно, что не успел дома ничего сказать, жена Дуся и сын Толик ничего не знают – обычная командировка и само собой – секретная.

В Москве он с военного аэродрома прибыл сразу в Управление Военно-морских сил, где его перенаправили в один из отделов разведуправления РККА.

Ждать пришлось недолго. В кабинет вошёл усталый круглолицый человек с залезанными назад, коротко стриженными волосами и большими залысинами у висков, а над верхней губой были небольшие квадратные усики. И представился – начальник управления Семен Петрович Урицкий.

– Известно ли вам, что сейчас происходит в Испании? – спросил он почти скороговоркой, без лишних церемоний.

– Конечно, – ответил Бурмистров, хотя несколько удивился.

– А есть желание прийти на помощь испанским товарищам? Хотя, ехать придётся в обстановке строжайшей секретности. И на Пиренеи

вы сможете попасть.... м-м-да... через Дальний Восток.

Комкор хитро прищурился, а глаза его сохраняли блеск холодной стали.

Бурмистров ничего на это не успел сказать, лишь брови его приподнялись от изумления. Он внутренне как-то подобрался, что не укрылось от внимания его собеседника.

Урицкий был доволен, что сумел-таки вывести из себя подводника, смелого и опытного, как ему отрекомендовали. Но продолжил:

– Христофор Колумб однажды отправился именно на запад в поисках кратчайшего пути в Индию, которая находилась по всем описаниям на востоке. Это было в 15-м веке. Вот и вам придется отправиться на наш Дальний Восток в командировку. Но через Западную Европу, например. Понимаете меня?

Когда Урицкий задал этот вопрос Бурмистрову, на какой-то миг ему вдруг показалось, что он и сам себя перестает понимать. Комкор отвел глаза в сторону...

Припомнилось, как полгода назад Первомай отмечали в Москве как никогда пышно. Грандиозный военный парад на Красной площади впечатлил не только высшее руководство страны. Все присутствовавшие иностранные дипломаты, несомненно, убедились в несокрушимой мощи Рабоче-Крестьянской Красной Армии Страны Советов. Затем в течение нескольких часов проходила многотысячная праздничная демонстра-

ция. И всё время в небе над столицей неугомонными цикадами непрерывно зудели авиамоторы.

Стройными журавлиными клинами над центральными улицами и проспектами главного города Советского Союза пролетали эскадрильи истребителей и новейших средних бомбардировщиков СБ. Но красу и гордость военно-воздушных сил составляли тяжёлые бомбардировщики ТБ-3, основной тактикой применения которых являлось бомбометание по цели силами большой группы этих «линкоров сталинских соколов» с использованием разных типов авиабомб. Многие советские фугасные авиабомбы и создавались как раз специально под ТБ-3, которые двумя годами ранее произвели фурор на заграничных выставочных салонах Европы.

Первомайский парадный пролёт армады тяжёлых воздушных «кораблей» над Красной площадью произвел такое неизгладимое впечатление на иностранных военных специалистов, что 3 мая Урицкому пришлось лично встретиться с капитаном Каотани, помощником японского военного атташе полковника Кавамото. Японский разведчик, рассказывая про свои впечатления о первомайском параде, не скрывал своего негодования и возбуждённо заметил: «Почему вы нас так пугаете? Зачем вам так много авиации? Ведь самолёты в любой момент можно послать и на Запад, и на Восток. Я всё время пытался пересчитать ваших «соколов» в стаях и всё равно сбился со счёта. В результате у всех японцев

теперь испорчено настроение, нам действительно стало страшно за будущее. Ваша авиация – это кинжал в сердце Японии».

Поскольку японские самураи не могли представить себе Японию с «кинжалом в сердце», об этом разговоре был незамедлительно проинформирован нарком обороны Ворошилов. А через пару недель тогда же, в мае 1936 года, Сталин одобрил решение правительства СССР о кардинальном перевооружении авиации Дальнего Востока. Для переброски тяжёлой авиатехники из европейской части Советского Союза, и в первую очередь тяжёлых бомбардировщиков ТБ-3, была создана постоянно действующая авиатрасса протяжённостью в несколько тысяч километров с промежуточными аэродромами, пунктами технического обслуживания и отдыха экипажей самолётов. В соответствии с этим постановлением Ворошилов издал 25 мая 1936 года очередной, совершенно секретный приказ № 0029.

Организация воздушной трассы и перелёта ТБ-3 на Восток была возложена на начальника ВВС РККА командарма 2-го ранга Алксниса и его штаб. Трасса была разбита на сектора в военных округах, и каждый округ должен был обеспечить в пределах своих границ переброску самолётов, обслуживание их на земле в пунктах основных и промежуточных баз, охрану, связь, квартиры для экипажей, питание и необходимое количество специалистов для ремонта авиационной техники. Исходной базой трассы было подмосковное Монино, конечной базой – Хабаровск. Вот такой,

постоянно действующий авиамоет проложили через всю страну. Но... не прошло и полгода, как система дала сбой...

Урицкий теперь оказался перед выбором по части того, с востока или запада ждать плохих вестей. Война в Испании уже шла полным ходом, но японская военная машина слишком близко подобралась к советским границам на востоке. Нужно не только контролировать обе противоположные стороны света, но и обеспечить переброску ударных сил в любом направлении. Не разочаровывать же господина Каотани, так напуганного на празднике мира и труда мощью советских военно-воздушных сил. А ведь главные сражения всегда происходят именно на земле – комкор был уверен в этом. Убеждён! За родную землю-матушку готовы сложить голову и наши лётчики-ассы, и доблестные моряки-подводники, один из которых как раз находится перед ним и пока мало что смыслит в великой мировой военной стратегии.

Комкор попытался отогнать тревожные мысли, подмигнул Бурмистрову и продолжал:

– Очень хорошо. Вижу, что понимаете. В Париже как раз намечается подготовка к Всемирной выставке сельхозмашин, и вы неплохо разбираетесь в технике. Вы же инженер-механик. Поедете в составе нашей делегации, которая представит всему миру новый трактор «Сталинец С-65». А там вас ждет встреча с нашим военно-морским атташе. Вы его знаете лично.

Всё, что говорил Урицкий, было в высшей степени неожиданно. Уж не лукавит ли комкор, ког-

да путает трактор с подводной лодкой? И к чему эти экскурсии про Дальний Восток? Странно это всё. И никаких атташе он пока не знает лично, не успел обзавестись такими знакомыми. Но промолчал, выжидая, что скажут ему дальше.

– Так что же вы всё-таки знаете об Испании, Иван Алексеевич, а?

Урицкий присел на стул, приготовившись внимательно выслушать ответ на свой вопрос.

– То же, что и все, – лаконично и очень спокойно отозвался Бурмистров и не узнал свой голос. – Колумб, Сервантес, Гренада-армада-коррида... так сказать. В общем – «но пасаран»!

– Да. Само собой разумеется. Только не Гренада, а Гранада. Но, с подводным флотом у республиканцев сейчас большие проблемы. И ещё – там дети голодают в осажденных франкистами городах. У вас есть дети? Знаю, что есть сын. У меня дочь. Думаю, что разберетесь, когда увидите своими глазами.

Урицкий даже не спросил, согласен ли капитан-лейтенант Бурмистров ехать в Испанию. Но, выходя из кабинета, взял со стола лист бумаги и, взглянув на него, с улыбкой бросил мимоходом:

– В Париж отправитесь под своим именем. В составе делегации, как инженер. А в Испании у вас будет другое имя – разумеется, испанское. Паспорт и документы получите в Париже. Вас там встретят. И – да, вот ещё что.

Урицкий смерил Бурмистрова с ног до головы оценивающим взглядом, затем добавил:

– В Европе сейчас поздняя осень. А потом зима. Пройдитесь по Москве, купите себе что-нибудь из одежды. Приличной. Там ведь тоже встречают по одежке. После двух часов я вас жду в своём кабинете. Будут вводные. По дороге в Европу освежите в памяти свои знания по истории с географией, я имею в виду военную историю, и литературу не забудьте. В книгах сами авторы вам подробно расскажут о национальных особенностях, чертах характера, обычаях и прочем. Начните с Дон-Кихота – мой Вам совет.

– Семен Петрович, я же по-испански не говорю. По-французски тоже. Да и времени маловато, чтобы книжки перечитывать.

Бурмистров машинально посмотрел на циферблат своих наручных часов. На подводной лодке они ему были ни к чему, а вот здесь, в Москве, он постоянно пытался уследить за летящим, как ему казалось, во весь опор, временем, чтобы не опаздывать на встречи. Ведь всё должно быть четко, без заминок. И это не укрылось от внимательного взгляда комкора.

– Переводчика обеспечим. Не прощаюсь. А часы свои... Передайте сыну. В Европе другие себе сможете купить.

И после этой фразы Урицкий быстро вышел из кабинета, предвидя ещё массу вопросов, которые всё равно остались бы без ответа. Он знал, что этими золотыми часами Бурмистрова наградил лично нарком обороны товарищ Ворошилов, к которому он сам сейчас должен отправиться на встречу.

Он торопился. В данный момент на его рабочем столе лежала гора секретных протоколов совещаний и подробные отчеты с пространными объяснениями десятков командиров разных уровней и лётчиков по поводу недавнего ЧП с функционированием восточного авиамоста. Надо было уже принимать какое-то решение и ставить точку в деле, от чего у комкора Урицкого раскалывалась голова.

А случилось вот что.

В порядке выполнения особого задания в сентябре эскадрилья 26-й тяжёлой авиабригады ВВС Особой Краснознаменной Дальневосточной армии в составе 16 самолётов ТБ-3 вылетела с подмосковного военного аэродрома Монино на Дальний Восток. Полёт над европейской частью страны, Уралом и Сибирью прошёл нормально, и 30 сентября эскадрилья достигла аэродрома Домны в Забайкалье, задержавшись там на сутки для осмотра материальной части и подготовки к перелёту Домна – Хабаровск.

Дальше началось вроде бы обычное разгильдяйство, которого в РККА хватало и тогда, и потом. Помощник командующего войсками Забайкальского военного округа по авиации комдив Шалимо, на котором персонально лежала ответственность за перелёт эскадрильи в пределах округа, личного участия в организации перелёта не принял, а перепоручил это командиру 101-й авиабригады комбригу Бондарюку. Комбриг тоже устранился от личного участия в под-

готовке перелёта и передоверил руководство своему начальнику штаба майору Корсакову.

В результате всех этих переключений ответственности с одного на другого вылет эскадрильи из Домны должным образом подготовлен не был. Нерчинский радиомаяк не сработал, а прогноз погоды на трассе оказался ошибочным и не соответствовал реальной метеорологической обстановке. В таких сложных условиях эскадрилья 2 октября вылетела из Домны в Хабаровск. По достижении станции Могоча эскадрилья встретила сплошную облачность и пошла над нею. Постепенно усиление облачности заставило всю эту летающую армаду преодолеть высоту более 5000 метров. Встретив на дальнейшем пути ещё более высокую облачность, командир перелёта принял решение пробить её, вместо того чтобы возвратиться на аэродром. Как в песне – «всё выше, выше и выше...»

Пробивая облачность, экипажи самолётов нарвались на обледенение, сильную болтанку и оказались не готовы к полётам в таких условиях. В итоге четыре самолёта совершили посадку в Бочкарёво, семь всё же сумели выйти из облачности и сели в Хабаровске. Остальные пять тяжёлых бомбардировщиков вследствие полной потери ориентировки рассеялись к северу от железнодорожной линии Чита – Хабаровск в радиусе 200–500 километров. Четыре из них произвели вынужденную посадку в тайге, один, потеряв управление, упал. В итоге катастрофы шесть человек погибли, пяте-

ро ранены, два самолёта разбиты, три получили значительные повреждения.

Для «разбора полётов» была срочно создана специальная правительственная комиссия, которая выяснила причины катастрофы. Выводы доложили наркому обороны маршалу Ворошилову. К нему после разговора с Бурмистровым сразу же и направился Урицкий – сначала на предварительное совещание, чтобы быть в курсе всего и основательно подготовиться к заседанию Военного совета, назначенному на 19 октября 1936 года.

Климент Ефремович в выражениях не стеснялся:

– На Дальний Восток вылетела эскадрилья тяжёлых самолётов. Выпустил её сам начальник Воздушных сил с моего ведома. На мой вопрос о подготовке к перелёту он доложил мне, что люди подготовлены, всё налажено и проверено. Я «благословил» эскадрилью в путь. Шестнадцать самолётов пролетели благополучно через всю страну. Всю страну! Приземлились на аэродроме в Домне у товарища Грязнова, сделали все необходимые приготовления для перелёта в Хабаровск и отправились в дальнейший путь. И тут началось... Это что-то совершенно невообразимое. Как мне тут доложили, сам командир эскадрильи застрял в грязи на аэродроме. Его заместитель, не получив указаний, самостоятельно, никого не спрашивая, решил вести эскадрилью по намеченной трассе. И полетели!

Ворошилов изобразил ладонью сначала планирующий, потом вертикально взмывающий, а затем пикирующий, почти уходящий в штопор воздушный лайнер, и продолжал озвучивать возмутительные подробности, изложенные в рапортах, стопкой лежавших перед ним на столе:

– Попадают в облачность, начинают её пробивать – никак не пробьют. Идут вверх. Достигнув потолка, люди без кислородных приборов начинают себя чувствовать плохо. Решают идти вниз, теряют окончательно ориентировку, чтобы не попасть на чужую территорию – на территорию Маньчжурии, – начинают отклоняться к северу – влево, что им всё же удалось сделать правильно. А дальше начался полный разброд. Благополучно прилетели только семь самолётов. Два не долетели до назначенного пункта; пять – разлетелись кто куда, из них один разбился, а четыре потерпели аварию. Шесть человек разбились насмерть, у остальных переломаны рёбра, имеются и другие серьёзные ранения. Товарищ Гамарник лично расследовал этот факт. Что же выяснилось? Оказывается, личный состав объявил себя «стахановцами» и взял сощобязательства в наиболее короткий срок проделать весь путь. Заместитель командира эскадрильи решил не терять времени и, считая себя ассом, повёл эскадрилью... И довёл, что называется, до ручки! Любопытно, что командир эскадрильи в конце концов всё же поднялся в воздух, но эскадрилью не догнал и сам залетел бог знает куда, поломав

машину и потеряв людей. Куда это годится? Ведь это преступление!

В кабинете повисло тягостное молчание. Отхлебнув из стакана холодной воды, нарком обороны обвел присутствующих пристальным взглядом, от чего у всех мороз пошел по коже. Ведь каждый понимал, что последует за этим разном – арест виновных и приговор трибунала.

Нарком обороны поморщился от приступа невыносимой головной боли, который накрыл его в который раз за день. Присутствующие знали об этом его недуге и даже по гримасе, искажившей его лицо, одновременно подумали, что в данный момент слышался ему адский вой всех вместе взятых загробных церберов, в котором тонули нескладные бормотания упомянутых выше разгильдяев.

Затем Ворошилов всё же продолжил речь:

– Никто людей на это преступление, как вы понимаете, не толкал. Значит так, Яков Иванович (он обратился к командующему ВВС РККА Алкснису), люди у Вас воспитываются плохо, безответственно, по-мальчишески пытаются решать сложные, государственной важности задачи. Хорошо, что они сели где-то у нас, у Охотского моря. А что было бы, если бы они попали в количестве пяти самолётов в Маньчжурию, рассеялись бы на чужой территории? Ведь никто, слышите – НИКТО бы не поверил, что наши летчики-ассы слетали по грибы в тайгу и просто заблудились. А сказали бы, что пять тяжёлых лучших четырёхмоторных бомбардировщиков Советского Союза

предприняли атаку на маньчжурские части. Это позор из позоров!»

«Да уж... Не просто позор. Получается, какая-то идиотская провокация, которая неизвестно чем могла бы закончиться», – размышлял Урицкий. – «Это ведь франкистам крупно повезло, что над Испанией 18 июля 1936 года небо оказалось совершенно безоблачным (во всех смыслах), как писал военный корреспондент «Известий» Илья Эренбург из Парижа. Когда же в августе собкор газеты «Правда» Михаил Кольцов, или как сам он предпочитал называть себя «товарищ Мигель», добирался из Франции в Барселону, густая облачность и самовольство пилотов доставили всем немало тревожных, если не сказать – роковых минут. В условиях полного тумана сверху ни черта не разобрать. Выиграет в итоге тот, у кого нервы крепче».

Руководителю Разведуправления именно сейчас, после совещания у Ворошилова, стало ясно, что все переброски войск отныне – хоть на запад, хоть на восток – пойдут исключительно наземным либо морским путем. Больше рисковать советскими самолетами, равно как и отвечать за мнимые провокации (мало ли что привидится «напуганным японцам» в следующий раз!) никто не позволит. Ведь в начале года особый колхозный стрелковый корпус уже был реорганизован в 20-й стрелковый корпус в составе 34 и 35-й стрелковых дивизий и Усть-Сунгарийского укрепрайона. Штаб корпуса переместили из Хабаровска в Биробиджан, а идея формирования колхоз-

ных дивизий, выдвинутая ещё в 1932 г., не оправдала себя. Оказалось, что совершенно невозможно содержать дивизии по штатам военного времени в состоянии боевой готовности, заниматься усиленной боевой подготовкой и одновременно пахать, сеять и собирать урожай. Ни времени, ни людей для всего этого не хватало. Поэтому в целях усиления боевой подготовки дивизии Особого колхозного корпуса совершенно секретным решением Комитета Оборона от 9 февраля 1936 г. за № ОК-32 было обозначено – всю посевную площадь, обрабатываемую корпусом, сократить на 50 %. Но и это предложение не решило проблемы полностью.

А после сентябрьского ЧП с тяжелыми бомбардировщиками уже 7 октября 1936 года Климент Ворошилов обратился к Лазарю Кагановичу с рапортом, в котором пояснял: «В настоящее время т.т. Гамарник и Блюхер предлагают на предстоящий 1937 г. ограничить сельхоздеятельность колхозных дивизий только подсобным хозяйством. Я согласен с этим предложением. Прошу утвердить». Каганович, который в это время «был на хозяйстве», замещая находившегося в отпуске Сталина, предложение наркома обороны поддержал, оставив на письме соответствующую резолюцию 9 октября. Тогда же, в октябре 1936 года личный состав моторизованного броневоего полка, сформированного в январе того же года на базе 3-го танкового батальона 32-й мехбригады и стрелкового батальона 6-й мехбригады и

убывший на территорию Монголии, оставил всю материальную часть «монгольским товарищам» и вернулся обратно, а в Монголию убыл личный состав, подготовленный в 11-м мехкорпусе.

Так приказала долго жить весьма оригинальная идея самообеспечения продовольствием и фуражом воинских частей на Дальнем Востоке. Зато немедленно родилась другая, совершенно потрясающая на первый взгляд – срочно заложить на Ленинградском судостроительном заводе супер-современную советскую дизель-электрическую подводную лодку «Сталинец» С-56, что непременно и будет сделано через месяц, в конце ноября 1936 года, вскоре после празднования очередной годовщины Октябрьской Революции.

Вопрос оказания непосредственной помощи подводному флоту воюющей Испанской республики тоже не заставил себя долго ждать. Урицкий дал указание Бурмистрову отправиться выполнять боевую задачу в кратчайший срок – на запад по железной дороге, когда вся Европа ожидает грандиозного смотра-парада своих невоенных достижений на Всемирной выставке в Париже.

Туда же, во Францию, откликнувшись на призыв Коминтерна, уже хлынули тысячи других советских добровольцев в штатском, желающие всей душой помочь испанским товарищам. А совсем недавно, в начале октября 1936-го, первые советские пароходы с вооружением и волонтерами на борту покинули одесский порт.

В родную бригаду в Севастополь полетело секретное сообщение, что капитан-лейтенант Иван Алексеевич Бурмистров, командир подводной лодки «А-2», срочно убыл во Владивосток на Тихоокеанский флот, в длительную срочную командировку до особого распоряжения.

И комкор мысленно благословил его на первое зарубежное «одиночное плавание» – одиночное в полном смысле этого слова. От его донесений и действий будет зависеть очень многое.

3

Бурмистров не спеша шел по Ленинграду от Московского железнодорожного вокзала в сторону набережной Обводного канала к Варшавскому вокзалу, откуда через несколько часов отбывал Варшавский экспресс. На нем можно было добраться до польской столицы, чтобы затем пересечь на «Северный экспресс» и следовать через несколько границ до Парижа. Этот прямой железнодорожный коридор, казалось, надежно соединял Европу с советской столицей и был любим туристами и коммерсантами за скорость и комфорт. Но Бурмистрову пришлось отправиться из Москвы сначала сюда и сделать петлю, чтобы в Ленинграде повидаться ещё со многими людьми, получить билеты, визу, паспорт, документы и некоторые новые вводные. И не привлекать внимание к своей персоне до определенного момента. Он должен был занять своё место в «Норд-экспресс», став его пассажиром именно в Польше.

Вспомнилось обидное, едкое выражение отца, которым тот как-то наградил сына, увидев в его руках винтовку с единственным патроном «эх, ты, беднота варшавская, много так навоюешь?» Обиделся он тогда, а теперь хоть бы эту мосинку в руках иметь с тем самым патроном, на всякий пожарный. Не полагалось мирному советскому инженеру такое снаряжение. Ни в каком виде. А в Варшаве отец его побывал ещё до Иванова рождения, в качестве одного из торговых агентов Санкт-Петербургского Императорского фарфорового завода – надо же было кормить семью. И с этого же Варшавского вокзала отец уехал в свою последнюю хлопотную командировку в начале 1903 года, а вернулся сразу, как только появился на свет сын, и стал искать новую работу поспокойнее.

Взглянуть на эту самую «бедноту варшавскую» сам Бурмистров сможет уже через сутки. Надо же, не морем отправляется он за границу, а идет по земле и словно отмеряет шагами эти мгновения, что отделяют его от чужого мира. А шаг у него твердый, строевой, выверенный, шестьдесят шагов в минуту, по числу ударов сердца. Так ведь и границу обозначают именно на суше – ни в море, ни в небе не прочертишь, не нарисуешь. И земля своя в каждом шаге сердцебиением ровным отзывается. Глядишь, на чужбине всё не так окажется, как здесь – и земля, и воздух, и море. И только внутри, под самым сердцем, будет носить он всегда и везде это ощущение Родины,

какое не позабыть вовек, не спутать ни с чем на свете. Чувство это глубокое и горячее, всеобъемлющее, как любовь матери, в котором утонуть не страшно.

Вот только сердце не на месте – не успел обнять Дусю, супругу ненаглядную, красавицу и умницу, да единственного сына Толика. Он в шутку называл его «токунок» за то, что тот болтал без умолку, как только научился говорить, «токовал» словно тетереv. И когда Иван привез свою семью сюда в Ленинград, в тесную коммуналку, находясь на трехгодичных параллельных классах в Ленинградском военно-морском училище им. Фрунзе, звонкий мальчишеский голосок каждый день приветствовал его, досаждая всем до тех пор, пока не добивался своего. И родители шли вместе с ним на прогулку, покупали конфеты или мороженое. Говорят, в испанских городах голодают теперь дети – и Бурмистров не мог унять невесть откуда бравшуюся ярость, подступавшую к горлу. Пойти бы прямо сейчас и набить этим франкистам их толстые морды!

В Главном разведуправлении пообещали, что семья не останется в накладе, и часть его зарплаты будут вовремя приносить жене, пока он выполняет свою миссию в Испании, сейчас до конца ему не понятную, но по всем признакам «героическую». И он её выполнит. Несомненно!

По совету Урицкого в Москве он обновил свой гардероб, можно сказать до неузнаваемости. Кожаное пальто, шляпа и перчатки, утепленные ботинки, кожаный портфель и сумка-рюк-

зак – всё было в одном темно-шоколадном тоне. Костюм из дорогого английского сукна, рубашка и галстук – как у зажиточного испанского кабальеро, путешествующего из одного конца света в другой, как ему представлялось. Уж в кожаных изделиях он разбирался прекрасно. Хорошо бы ещё точно знать, как на самом деле выглядят сейчас эти испанские «кабальеро», чтобы смешным не показаться, когда окажется там. Для простого советского инженера, наверное, его внешний вид мог показаться чересчур шикарным. Ну, да ладно, чего уж теперь. Пусть таможенники ахнут и позавидуют, как только представят себе жизнь и достаток рядовых тружеников технического прогресса страны Советов. А ведь он – офицер.

Бурмистров шел и мрачно улыбался своим же собственным мыслям.

Раннее утро в Ленинграде глубокой осенью мало отличалось от вечера своей непроглядной теменью. С залива дул промозглый ветер, а камни на мостовой покрывала ледяная корочка. Тучи рваной металлической бахромой свисали с обветшалой обшивки небесного подволока, отчего небосвод до самого горизонта казался всклокоченным и шершаво-колючим, как наждачка, в противовес скользкому катку тротуара.

До отправления поезда оставалось меньше полусуток. Это и много, и мало. Надо зайти в кафе, перекусить и подождать майора, который курирует всю его поездку. Дождь со снежной крупой загнал его в закусную, уютившуюся в нулевом этаже углового старинного дома, где ему тут

же предложили чашку крепкого кофе. Но ждать не пришлось – следом за Бурмистровым вошел человек с портфелем, в шляпе и костюме, поверх которого был накинут длинный макинтош. Бурмистров кивнул ему, приглашая присесть за столик, тот снял верхнюю одежду, пристроил свой добротный плащ на вешалку у дверей, а шляпу положил рядом на подоконник, куда тут же поставил свой кожаный портфель, хотя это не соответствовало никакому этикету.

Человек этот не стал представляться и на немой вопрос Бурмистрова с невозмутимым спокойствием ответил:

– Могу себе позволить. Это же не я еду за границу, а вы. Не советую поступать так. Оглянуться не успеете, как все вещи и документы окажутся у вокзальных воров.

Официант принес ему такую же чашку кофе и немедленно удалился, оставив двух клиентов заведения наедине. И они продолжили общение.

– Это ваш паспорт. До Парижа доберетесь с документами на имя советского инженера. Вот, полюбуйтесь. Деньги и командировочные здесь же. На первое время вполне достаточно. Как пересечете границу с Испанией, пойдет зарплата.

Он протянул Бурмистрову портмоне, и тот сразу же вытащил паспорт.

С раскрытой страницы на него смотрела собственная фотография, а рядом разборчивым, почти каллиграфическим почерком было выведено «Иван Иванович Бураков». Он спроси-

тельно посмотрел на собеседника. Ведь Урицкий говорил, что Бурмистров поедет под своим именем.

– Не удивляйтесь. Настоящий Бурмистров срочно убыл во Владивосток, о чем мы уже известили ваших командиров. А для европейцев все мы Иваны. В краткой автобиографии на получение выездной визы значится, что имя вашего отца – Иван Васильевич. Кстати, от него вы и будете получать все указания к действию. В зашифрованном виде, конечно.

– У вас тоже отец Иван Васильевич? Мы часом не родные братья? – ирония капитан-лейтенанта не укрылась от собеседника.

Тот медленно отхлебнул из чашки остывающий кофе и, глядя куда-то вниз, произнес:

– У всех у нас сейчас один отец, вы же понимаете.

– Вы не представляете, как я рад, – кивнул Бурмистров. – Что ещё?

– Ничего особенного. Войдёте в экспресс на Варшавском вокзале, потом в Варшаве переседете в Норд-экспресс и проследуете через Германию до Парижа, вас там встретят. Во Францию из Москвы едет много наших специалистов и деятелей искусства. На этой грандиозной выставке Советский Союз предстанет во всей своей мощи и красе. А вы у нас в составе делегации по сельхозтехнике. Опытный образец трактора Челябинского тракторного завода Сб5 «Сталинец» отправляется покорять Европу.

– Жаль, что не успел ознакомиться с этим образцом. Ничего в сельхозтехнике не смыслю.

– Сейчас к нам присоединится один бывший активист-комсомолец, который очень неплохо в ней разбирается. Я откланяюсь, а вы общайтесь. Если получится, прошу – повлияйте на него, как старший товарищ по партии. Двоек нахватал, чуть не отчислили. Но он – отличный парень, курсант высшего военно-морского училища имени Фрунзе, 4-й курс. Коммунист, был неосвобожденным секретарем комсомольской ячейки Сталинградского тракторного. А вы ведь в своё время руководили комсомольцами Ворошиловского кожзавода?

– В то время – ещё Ставропольского, – поправил Бурмистров.

Собеседник словно пропустил эту фразу мимо ушей, потому как в пустой зал кафе в этот момент вошел красивый темноволосый парень, ладно сложенный, в курсантской морской форме. Молодцеватым жестом отдав честь им обоим, не находившимся в военных формах, но предположительно имеющим достаточно высокие воинские звания (так рассудил курсант), он подсел к ним за столик и вежливо улыбнулся одними губами. Затем представился:

– Курсант Сергей Волков. Нахожусь в увольнении с восьми часов и до...

Он быстро взглянул на свои часы, покачал головой и завершил реплику:

– В увольнении с восьми утра и до ужина. Надеюсь, успеем.

Прежний собеседник Бурмистрова быстро поднялся, попрощался, надел макинтош и шляпу, подхватил портфель и вышел.

– Будем знакомы, – Бурмистров по-дружески протянул курсанту руку.

– Спасибо, – отозвался тот, и после рукопожатия взгляд его заметно потеплел.

– Откуда родом? Говоришь, как москвич, но слова протягиваешь.

– Родом из Саратова. Сюда по комсомольской путевке. Вот этими руками собирал и трактора, и танки. И уж с десяток рапортов успел подать, чтобы отправили меня франкистов бить. Говорят, сперва доучись. И даже на второй год оставили, три зачета и два экзамена завалил.

– Правильно говорят. Успеешь навоеваться.

– Так пока в руках не почувствуешь, пока не встряхнёшь «железяка», пока не оседлаешь, как научишься машиной управлять? Хоть трактор и зовут «железным конём», но у него и сердце, и душа имеются. И характер.

– А чего это ты в подводники подался, если зачеты проваливаешь да по тракторам тоскуешь? В море это не на сеновале с девками – в охাপку сгрёб и будь здоров. Море – это стихия, причём – первородная. С ней или заодно надо быть, или вообще не быть. Понимаешь? И когда тебе кислорода отмерено всего на один вдох, поздно учебники вспоминать.

– Воды не боюсь, Волгу переплываю на спор.

– Тут пострашнее спор случается. И если в голове ветер, то уж лучше на твердой земле вер-

хом на стальном коне, чем между небом и дном морским внутри того самого железа. Двоечникам не место на подводном корабле. Запомни, брат.

Он перешёл на хриплый шепот, а в глазах стояли лица всех пятерых погибших «гарибальдийцев». Говорить об этом он не имеет права, но убедить парня в том, что недоучки обречены, он попытается. И у подводной лодки тоже душа имеется, ещё какая. Огромная. Одна на весь экипаж.

– Ты бы лучше рассказал мне, что в этом тракторе самое важное. Челябинский тракторный небось конкурент вашему Сталинградскому?

– Самое важное? Да то, что он лучший в мире!

– Кто бы сомневался... А подробнее?

– С одного хорошего, «правильного» конвейера и трактор, и танк выпускается. Штук по десять в сутки. Или даже так – если что, этого железного коня по частям разобрать и собрать можно.

И пустился курсант в долгий разговор про матчасть и прочее. А потом добавил всё же:

– Окажись я там, куда меня пока не пускают, такую бы им всем свинцовую лекцию прочитал, такие аргументы нашел, что франкисты бы навсегда позабыли про своих... королей, министров и генералов. Люди – вот главное оружие. Человек крепче стали, его мысль быстрее пули.

– Это ты правильно сказал. Молодчина!

– Возьмите меня с собой, Иван Алексеевич, хоть словечко замолвите, – с жаром произнес курсант, и глаза его заблестели.

– Вот станешь морским львом или хотя бы морским волком, тогда может и свидимся. Ска-

жи-ка лучше, который час. Свои наградные просил сыну передать, на память. Мало ли что...

Вместо ответа курсант быстро снял свои часы с царапиной на циферблате и потертым кожаным ремешком и протянул Бурмистрову. Тот удивленно поднял брови.

– Возьмите, хоть и не новые, отцовские, но вам сейчас нужнее. А я сдам экзамены, глядишь, тоже наградят серебряными или золотыми.

– Добро.

Они обнялись и расстались.

Бурмистров перед отъездом жадно всматривался сквозь туман в контуры проспектов Северной столицы, словно стараясь запомнить каждый камень на мостовой, отмечая для себя, как она преобразилась, одетая нынче в кумач, разогретая муштрой и репетициями военного парада.

Приближался главный праздник страны – очередная годовщина Великой Октябрьской социалистической революции.

НИНА

Рассказ

По субботам возле северного вестибюля станции Павелецкая собирались бездомные. На просторную площадку между тяжёлыми стеклянными дверями метро и киосками с выпечкой и шаурмой каждую минуту волнами выплёскивались новые люди, смешивались, опять растекались – и только грязные фигуры, как бельма в глазу, маячили на своих местах. Особенно много их становилось здесь ближе к полудню. Некоторые сидели на корточках у стен и, закрыв глаза, покачивались, как птицы на жёрдочке; некоторые сбивались в проём в дальнем углу вестибюля, где лежали в ряд деревянные ящики из-под фруктов, на которых можно было устроиться, как на нарах. Одиноким полицейский обычно деловито прохаживался перед входом в метро, с брезгливым равнодушием поглядывая на них, а потом опять отходил внутрь здания, к турникетам.



Андрей
ТИМОФЕЕВ

Проза



Наконец, часам к двум дня со стороны Павелецкого вокзала появлялась группа парней и девушек с большими хозяйственными сумками. Они останавливались у свободного места у стены, чуть поодаль от стеклянных дверей, и, сиротливо оглядываясь, будто сами были бездомными или музыкантами в электричках, принимались раскладывать – один доставал термос и стаканчики; другой открывал пакет с хлебом; третий готовил пластиковые тарелки и ложки для супа. Постепенно вокруг них начинали собираться бездомные. Самые пронырливые набегали первыми, обжигаясь, хватали тарелку и, отскочив подальше, принимались торопливо втягивать в рот горячий бульон. Потом подходили мужики в одинаковых рабочих куртках, отличающиеся друг от друга лишь цветом шапок, – эти брали свою порцию спокойно и с достоинством. Женщины с пропитыми лицами, похожими на перезрелые сливы, забирали по несколько пакетиков с курицей и гречкой, ловко рассовывая их по карманам и попутно интересуясь, что сегодня ещё принесли из еды и одежды. А те, кто был сильнее потрепан жизнью, люди без пола и возраста, с заплавленными глазами и гноящимися порезами на толстых негнущихся пальцах, неловко хватали посуду дрожащими руками и, усаживаясь прямо на асфальт, принимались есть, загораживая проход другим.

Это место кормления было ещё не так известно – со всей Москвы стекались на Кожевническую улицу или на Курский, а сюда заходили в основном бывалые. Они уже знали эту жизнь:

еда на таких вот пунктах, иногда мытьё на дез-станциях, а если повезёт – погреться в автобу-сах-накопителях у вокзалов. Они не хотели вер-нуться к нормальному существованию, не проси-ли купить билет домой, восстановить паспорт – они лучше любого волонтера разбирались, когда и куда идти. И только мужик с разбитым костью-лём и замотанной синими больничными бахила-ми ступней каждый раз назойливо расспраши-вал, можно ли ему оформить пенсию, и обещал прийти сюда через неделю с какими-то докумен-тами, но в следующий раз опять приходил без них и принимался расспрашивать о том же самом.

Обычно бездомные расходились быстро, едва получив своё, но сегодня не спешили – маячи-ли рядом, наслаждаясь долгожданным состо-янием сытости и млея на мягком мартовском солнце. На улице стало гораздо теплее, чем ещё несколько дней назад, и отчётливо ощущалось, что изматывающая зима отступила окончательно, а впереди – новое лето, и даже самые забытые и перемерзшие из пришедших как-то беззаботно распахивали замызганные грязью куртки. При-нимались заводить обычные разговоры: жало-ваться на жизнь или с обречённой настойчиво-стью выпрашивать денег.

Волонтеры с готовностью вступали в разго-вор – координатор их группы особенно настаи-вала на личном дружеском общении, чтобы не только накормить, а ещё и дать почувствовать бездомным, что они тоже люди, что и их кто-то любит. Впрочем, не у всех волонтеров это получа-

лось – так молодой краснощёкий парень в очках по имени Юра, усердно работающий на раздаче, смотрел вокруг одинаково тёплым невидящим взглядом, стараясь всем улыбаться, но ни с кем не заговаривал надолго, каждый раз торопясь отвлечься – найти ещё ложек или закрыть термос, чтобы чай не остыл. А Мила, маленькая девуш-ка в лёгком бедном пальтишке, говорила только с одним из пришедших – пожилым старичком, бывшим профессором в порванной куртке, но с длинным интеллигентским шарфом: он казался милым и вёл себя с ней подчёркнуто обходитель-но, будто великосветский помещик из позапро-шлого века. И только координатор группы Таня, молодая коренастая женщина с сильными руками и громким, чуть хрипловатым голосом, успевала и распорядиться по кухне, и лить перекисью водо-рода на чьи-то раны, а потом ловко бинтовать их, и одновременно строго расспрашивать о делах.

Чуть поодаль от раздачи стояла худая грузинка из тех, кто подходили за едой первыми, переми-нала пальцами кусочки хлебного мякиша, потом быстро клала его в рот, старательно обсасывала, в то же время скатывая руками новый тёплый комочек, и внимательно вглядывалась в волонте-ров, а особенно в Таню, будто оценивая её. Она видела, что еда заканчивается, и с неодобрением смотрела на опоздавших, которые подходили, с надеждой спрашивая: «А чая нет?» – а потом с нео-хотой брали остывший пакетик с курицей и греч-кой. Волонтеры начинали разъезжаться: кому-то нужно было отвезти оставшуюся посуду, термосы,

не розданные вещи, а кому-то просто хотелось скорее домой. И лишь когда на площадке у вестибюля осталось всего трое – координатор Таня, краснощёкий парень Юра и Мила, девушка в бедном пальто, грузинка всё-таки решилась подойти.

У распотрошённых хозяйственных сумок в беспорядке валялись использованные стаканчики, а Таня, усмехаясь, медленно собирала их в чёрный мусорный пакет. Грузинка проворно схватила её за рукав куртки и стала требовательно трясти, мотая головой в сторону видневшегося через площадь здания вокзала, показывая, что нужно идти туда вместе с ней.

– Я Софико, Софико, – повторяла она с напором, словно это было самым весомым аргументом, чтобы подчиниться ей.

– Идти? Куда? – пыталась выяснить Таня. – Только мне или всем?

– Ребята, – обернулась она к Юре и Миле, уже заканчивавшим сборы, – давайте быстренько посмотрим, что тут.

Те вопросительно переглянулись, а потом Юра подхватил сумки, и все они двинулись в переход, ведущий на вокзал.

Софико шла первой, проворно обходя встречаемых прохожих, иногда ещё останавливалась, оглядываясь, и принималась делать таинственные знаки руками. Трое волонтеров нагоняли её, а она устремлялась вперёд, так что те поневоле опять отставали. Поднялись на другой стороне площади, вошли в суетливую теплоту вокзала – приятно запахло из блинной, равнодушно объ-

явили о прибывающем поезде, приходилось то и дело петлять, чтобы не наткнуться на чьи-то тяжёлые сумки, – а потом по кафельной лестнице спустились вниз, в просторный холл перед входом в туалет. Там Софико в последний раз остановилась и выдохнула:

– Здесь. Пять дней лежит, и никто ничего, у неё рак... Только я таблеточки ношу. А она глотает и ей хоть бы что. Я говорю, Нинка, Нинка, терпи, а ей хоть бы что, и никто ничего... – и вытащила из внутреннего кармана чайный пакетик, порванную карточку от метро, упаковку копеечного анальгина.

Волонтеры растерянно молчали в ответ.

Таня плохо разбирала речь грузинки, ей хотелось прервать Софико, чтобы спросить что-нибудь конкретное – что это за больная, которая лежит в туалете пять дней, каков точный диагноз, какие документы есть при себе, но только хмурилась, ожидая, когда та закончит. Юра слушал, взволнованно поправляя очки, с неясным ему самому внутренним вдохновением. Он совсем недавно начал ходить к бездомным и всё ещё чувствовал беспечную радость от возможности оказать кому-то помощь. А Мила, первокурсница, полгода назад приехавшая в Москву из маленького городка на юге России, почти не воспринимала слова Софико и только испуганно глядела на них с Таней.

Пока они стояли в холле, туалетная кассирша, грузная женщина в синей униформе, поглядывала на них со злостью, уже догадываясь, зачем те пришли.

– Тридцать рублей вход, – сразу же сказала громким нервным голосом, немного наклоняя тяжёлую голову вперёд, заранее готовясь встретить сопротивление.

– Мы ищем больную женщину, она лежит здесь, у вас? – подчёркнуто вежливо, но с внутренним напряжением спросила Таня.

– Тридцать рублей, – повторила кассирша. Её саму раздражало присутствие в туалете умирающей бездомной, за которую могли оштрафовать, но полицию она не вызывала, чтобы не быть виноватой в том, что больную выгонят на улицу, – и теперь злилась и на неё, и на себя, и на этих холёных молодых людей, не знающих, что такое ежедневное изматывающее сидение на кассе, но словно нарочно пришедших сюда осуждать её.

– Почему вы не хотите, чтобы мы прошли? Мы просто хотим помочь, – вмешался Юра, чувствуя в ожесточении этой женщины слабость и надеясь её уговорить. А Мила только торопливо искала деньги в кошельке – каждая секунда этого разговора казалась ей мучительной, и она готова была всё отдать, лишь бы никто больше не спорил.

Заплатили, вошли. На белых кафельных полах вразнобой лежали обрывки намокшей бумаги, мятые пластиковые стаканчики. Пахло сигаретным дымом. Через открытую дверь мужского туалета было видно, как в глубине, перед зеркалами, бреется человек в парадном костюме. Ещё несколько секунд волонтёры растерянно оглядывались, но потом заметили в дальнем углу ноги больной, торчавшие из-за двери.

Женщина лежала неподвижно. От громких голосов она, кажется, проснулась и едва разлепила глаза, но не в силах была долго держать их открытыми. Таня подошла к ней первой и наклонилась, стараясь разглядеть лицо.

– Как вы себя чувствуете? Где болит?

Та шумно вздохнула. Она была одета в засаленную жёлтую кофту, порванные в нескольких местах штаны и закутана в несколько слоёв толстым полиэтиленом, по-видимому, чтобы меньше пахло, – и мелко дрожала, то ли от холода, то ли от болезни.

– Надо подложить что-нибудь под спину, – понял Юра и, опустившись на колени, попытался неловко приподнять Нину за плечи, но промокший полиэтилен всё время выскользывал из рук.

– Вы можете встать? – ещё раз обратилась к ней Таня, но та только жалобно покачала головой, втягивая губами воздух, и Юра опять положил её на пол, не зная, что же делать дальше.

– Она хочет пить, – вмешалась Софико, – её здесь не поют совсем, – а потом повернулась назад и мстительно взглянула на кассиршу, наблюдавшую за ними, стоя у турникета. Все словно пробудились после её слов: Таня поднялась решительно, а Юра поспешил в холл, где стоял огромный автомат с водой и сладостями. Софико зачем-то выскочила за ним и внимательно наблюдала, как он покупает бутылку воды, но всё не решаясь о чём-то спросить. А когда проходила обратно, нарочито громко сказала работни-

це туалета: «Я пройду», будто пытаясь показать, что теперь она не просто бесправная бездомная и сила уже на её стороне.

Юра поднёс горлышко бутылки к губам Нины. Та сделала несколько глотков и, кажется, даже благодарно кивнула, но почти сразу же сморщилась и зарычала монотонным утробным гулом. «Как будто в ней бесы», – подумал Юра. А через несколько секунд та закрыла глаза и задышала теперь уже ровно и глубоко.

Две пожилые женщины, ярко и безвкусно накрашенные, проходившие в этот момент мимо кассы, на секунду остановились рядом.

– Что у вас тут происходит? – требовательно спросила одна, но не для того, чтобы вмешаться, а скорее, просто желая выразить недовольство громким звуком.

Волонтёры неловко замерли на местах, не отвечая. А когда женщины скрылись в дверном проёме, осторожно прикрыли большую дверь и, не сговариваясь, отошли на несколько шагов.

– Социальный патруль? – осторожно предложил Юра.

– Да, патруль будет не лишним, – рассеянно выговорила Таня.

– Самое лучше, конечно, хоспис, – продолжал Юра, ободрённый этим согласием.

– Да, да, – оживилась и Мила. – Давайте в хоспис!

Но Таня больше не отвечала и только ожесточённо стучала костяшками пальцев по ладони другой руки. Она не знала, что делать в такой

ситуации, и её тяготило доверчивое внимание, с которым ребята смотрели на неё.

Раньше Таня работала в молодёжном центре при Даниловом монастыре, там была большая команда ребят с опытом волонтерской деятельности. Но потом поссорилась с координаторами, и теперь сама организовывала такую вот группу кормления на базе маленького храма Феодоровской иконы Божьей Матери при Российском Социальном университете. Ходили туда, в основном, студенты, как Юра с Милой, – все они уважали её и слушались безоговорочно. Сама же Таня воспринимала всё зло в мире как испытание, которое нужно преодолеть, и потому отчаянно истощала себя: ездила на благотворительные ярмарки, проводила евангельские встречи, каждые выходные помогала бездомным. Но иногда, в самый неподходящий день, её крепкое тело не выдерживало, и тогда она не могла встать с кровати и так и лежала до вечера. И вот теперь ощущала именно такую усталость.

– Если она грузинка, то в хоспис не получится, – сказала медленно, – хотя я не знаю, надо уточнить... – заторопилась, как бы извиняясь за свою слабость.

– Она, наверно, уже давно здесь живёт, – неуверенно возразил Юра, – должно быть гражданство.

Таня машинально кивнула, а потом повернулась к Софику, переминавшейся с ноги на ногу неподалёку:

– У неё есть документы?

При упоминании о документах Софико пожала плечами и недовольно скривила губы, словно у неё требовали её собственные. Тогда Таня вернулась к Нине и, стараясь не вдыхать кислый запах, наклонилась к распухшему лицу:

– Мне нужно посмотреть любой ваш документ, можно?

Нина только зашевелила губами, словно стараясь прожевать, но не открыла глаз. Тогда Таня развернула первый слой полиэтилена. Внизу оказался разрыв, через который можно было просунуть руку и попытаться нащупать в карманах что-нибудь твёрдое. Преодолевая отвращение, Таня присела и погрузила пальцы в мягкую тёплую жижу. Ей почти сразу повезло: в ближайшем кармане брюк обнаружилось что-то твёрдое, наощупь похожее на корочку документа. Вытащила, инстинктивно сделала несколько шагов назад, с трудом разлепила мокрые страницы. И увидела насыщенно-синие праздничные цвета, так непохожие на бледность российского паспорта.

Юра подошёл и из-за плеча стал разглядывать фотографию молодой черноволосой женщины.

– Красивая, – зачем-то сказал он и смутился. – Но это же документ, он действительный! Гораздо хуже ведь было, если бы он потерялся... Надо попробовать в хоспис, там за ней хотя бы будут ухаживать...

Таня кивнула, но по-прежнему думала о том, что ничего нельзя сделать.

Тем временем Софико смотрела на них сердито. Приходившие на вокзал волонтеры, а особен-

но их старшая – Таня, раньше казались ей важными людьми, и она надеялась, что они быстро со всем разберутся и всех накажут. А теперь была разочарована их растерянностью.

– Нинка хотела умереть дома, в Тианети, – ожесточённо заметила она, будто споря с кем-то.

– У неё там родственники? – удивилась Таня. – Они могут её принять?

– Откуда я знаю?! – ответила грузинка с неожиданной обидой. А потом отвернулась, села на корточки и, опершись спиной на стену, с наивной картинностью закрыла лицо руками. Ей было и жаль Нину, и грустно за себя, и досадно, что она потащила сюда с этими людьми и только подставилась перед кассиршей без толку.

– В Грузии, наверно, климат лучше, там можно дольше прожить, – заметил Юра, стараясь сгладить неловкий момент, но Софико продолжала сидеть, держа руки перед глазами. Все опять замолчали, не в силах преодолеть вязкость собственной жизни. Юра некстати вспомнил, что сегодня хотел сходить на вечернюю службу в церковь.

В этот момент у входа всхлипнула Мила. Она не отдавала себе отчёта в том, что плачет, – просто стояла, а из глаз текли слёзы. Не понимая до конца, о чём спорят Таня и Юра и что за проблема с паспортом, она всё это время думала только о том, что эта неизлечимо больная женщина скоро умрёт, и от этой определённости ей становилось невыносимо тоскливо.

Юра увидел её слёзы, вздохнул и улыбнулся:

– Ну вот, теперь у нас у всех глаза на мокром месте...

Подошёл к Миле, ласково взял её за плечи.

– Глупышка, всё образуется, ведь затем мы и здесь, – заговорил, как с ребёнком.

Для Юры, действительно, всё было просто – любого человека вёл по жизни Божий промысел, и нужно было только захотеть следовать за ним, чтобы всё стало хорошо. И так приятно было сказать это ей, и видеть, как Мила доверчиво наклоняется к его плечу, и чувствовать себя сильным и мудрым.

Таня стояла неподвижно, оглядывая всех, и от общего смятения к ней постепенно стало возвращаться её обычное самообладание. Не объясняя ничего, она вышла в холл и набрала телефон социального патруля. Не отвечали, она звонила ещё и ещё. Наконец услышала ровный безразличный мужской голос и стала говорить резко и даже зло. Она знала, как устроена эта служба, что у них только две машины на всю Москву и они с большой неохотой принимают вызовы, а потом имеют право приехать только через сутки. Ей было важно убедить диспетчера, что эта бездомная никуда не уйдёт с вокзала, а ещё что ею занимается церковная организация, которая в случае чего не оставит халатность безнаказанной.

Она вернулась, воодушевлённая и собранная.

– Юра, езжай в храм, – выговорила спокойно и строго. – Узнай у матушки, кажется, у неё был телефон Лизы Тусиевой, такая маленькая

чёрненькая девочка, помнишь? Иногда ходила с нами, кажется, она из Тбилиси, позвони, спроси, есть ли там знакомые, которые могут чем-то помочь, может, поискать родственников...

Остановилась, обдумывая что-то.

– Мил, тебе придётся подождать здесь. Соцпатруль едет несколько часов, но вдруг повезёт, и появится раньше. Если что, они обязаны отвести её в приёмник и оказать первую помощь. А я схожу к дежурному по вокзалу, может, там помогут, хотя не знаю... У вас нет сейчас других дел? Вы согласны?

Юра кивнул, а Мила подняла покрасневшие глаза и шмыгнула носом.

Всё было вроде бы понятно, но они ещё минуту не двигались, будто оставалось что-то важное, что им необходимо было сделать. И все даже помнили, что именно – они всегда молились перед любым серьёзным делом, Таня особенно настаивала на этом. Но сейчас ни у кого не хватало духа начать или хотя бы сказать о молитве вслух. Немного постояли, потом рассеянно кивнули друг другу и разошлись.

Оставшись одна, Мила совсем растерялась. Она хотела выйти и ждать в холле, убеждая себя, что так лучше, чтобы не ссорится с кассиршей – всё равно ведь придётся выходить встречать патруль. Но потом ей стало стыдно перед Софико, оставшейся рядом с больной. «Я совсем не думаю об этой бедной женщине, только о себе, – вдруг подумала она, – как же это ужасно...»

Она почти силой заставила себя посмотреть в лицо Нины. Глубокие чёрные впадины закрытых глаз, гнойная короста на месте рта. Это было так безобразно и жалко, что хотелось зажмуриться.

– Вот, оботрись, посуше будешь, – услышала она голос Софики, протягивающей ей зелёный засаленный платок. Мила неловко улыбнулась, взяла и осторожно дотронулась платком до лица, ощущая грязное прикосновение, а потом неловко держала его в руках.

– Почему она заболела? – спросила сипло.

– Да откуда я знаю, – махнула рукой Софики и невесело усмехнулась. – Продавала розы в переходе. Прошлой весной пропала, киоск закрыли, а недавно появилась. Деньги-то закончились, видно, лечиться... Говорила, комнату её заняли, в подвале жила, здесь, рядом... уехать хотела, да вот, не судьба.

Несколько подростков с шумом ввалилась через турникет, а потом ещё долго перекрикивались в туалете, так что Миле слышен был их грубый нахрапистый смех. Коренастый мужчина тащил тяжёлую, шаркающую по полу сумку и равнодушно косился на лежавшую на полу больную.

– Хорошая была женщина, – нараспев продолжала Софики, глядя перед собой. – Помню, поила кипяточком, специально чайник держала для меня, мы же с ней землячки, я из Ахалсопели... Помогала, не жадная была... Пятьдесят рублей мне как-то дала, вот так просто взяла и дала, – сказала и со скрытой надеждой взглянула

на Милу. – А мне, знаешь, тоже ведь хотелось ей приятное сделать, я встану возле киоска и зову – подходите, подходите, свежие цветы, а она – уходи, дура! Гоняла меня, конечно, как без этого. Все нас гоняют... А теперь вот, заживо гниёт, – добавила грустно, но будто какое-то удовольствие было для неё в жестокости этих слов, в том, что они были правдой.

Из холла раздался шуршащий звук кофемашины, в ответ ему зашелестела в трубе вода, а потом опять стало тихо. Так просидели ещё несколько минут. Вдруг обе очнулись, как от толчка, и увидели, что по лицу Нины текут тяжёлые крупные слёзы. Софики наклонилась к ней, и та застонала. Звука почти не было, и только свистящий воздух выходил изо рта, усиливаясь с каждым выдохом.

– Таблеточку надо, неси воду, – заторопилась Софики, размашисто хлопая себя по карманам куртки, пытаясь найти затерявшуюся упаковку анальгина. – Кружку, кружку, у этой спроси, – прикрикнула, видя растерянность Милы, показывая в сторону кассы.

Кассирша же глядела на них в приоткрытую дверь своей белой будки и не двигалась, не решив ещё, как поступить. Общее смятение захватило и её, но внутреннее упорство не давало сделать шаг навстречу.

– Да что ты за человек такой, ведь давала же когда-то, – закричала в сердцах Софики. – Разберутся сейчас, увезут её, – и та сердито завозилась у себя в столе, а потом протянула Миле кружку.

Мила побежала к раковине, торопливо стала наливать воду. Но кружка уже была полная, а она всё продолжала стоять. Ей страшно не хотелось выходить к больной стонущей женщине, она шагнула к двери через силу, протянула Софику воду, стараясь не глядеть, как она даёт Нине таблетку, а та запрокидывает голову. Стоять рядом было невыносимо и, не думая ни о чём, просто чтобы сделать что-нибудь, Мила принялась набирать Танин номер. Но не попадала дрожащими пальцами по клавишам – казалось, даже телефон теперь вибрировал болью.

– Ей плохо, совсем плохо, – выдохнула она в трубку.

– Вызову скорую, беги на обычное место, встречай, – услышала твёрдый голос Тани.

Мила опустила телефон.

– Мне надо, – виновато пробормотала она и, не оборачиваясь, выскочила из туалета. А потом бежала по длинным просторным коридорам, спускалась куда-то вниз, плутала в переходе между кассами, и ей всё казалось, что пока она торопится изо всех сил, Нине не так больно, а оттого и самой Миле было не так стыдно за свой побег.

Неожиданно она оказалась там, где и должна была, – на знакомой площадке у метро, на которой всего час назад кормили бездомных. Мила остановилась, оглядывая это привычное оживлённое место – только теперь никто здесь не обращал на неё внимания, никто заискивающе не заглядывал в глаза и не благодарил. Неподалёку у обжитого бездомными закутка справа от

вокзальных дверей столпилось несколько человек, кто-то лежал, двое мужчин лениво дрались и кричали. Черноволосый парень в порванной куртке, то ли бездомный, то ли просто пьяный, заливал в горло бутылку пива.

Она была здесь чужой, и потому не могла больше чувствовать себя в безопасности – ей хотелось убежать, спрятаться и никогда не приходить сюда – отдать всё, что у неё есть, навсегда исполнить свой долг и не видеть больше этой боли и грязи. Она боялась только, что скажет Таня и как потом будет невыносимо неловко перед ней за своё малодушие. И когда появилась запыхавшаяся Таня и начала что-то недовольно рассказывать про дежурных на вокзале, а затем заспешила к машине скорой помощи, остановившейся вдалеке, у киоска с сигаретами, Мила всё не могла справиться со своим смятением и только кивала, не слушая, и машинально шагала за подругой...

Врач оказался совсем молодым парнем. Он деловито кивнул красивой черноволосой медсестре, с трудом вытаскивающей из машины медицинскую сумку, взглянул на подошедших девушек, как будто по одному их виду понял, что «скорую» вызвали именно они, и двинулся к вокзалу.

– Вы знаете, что здесь есть медпункт? – спросил он с напором, когда они с Таней вместе входили внутрь.

– Мы видели указатель, но не были там.

– Я вас не спрашиваю, были вы там или нет, я спрашиваю, вы знаете, что «скорую» на вокзал

вызывают из медпункта? – повторил он недовольно.

– Простите, больная не смогла дойти туда, – ответила Таня, мгновенно пугаясь своей едкости, которая могла сейчас только повредить.

– Девушка, ну вы же понимаете, у нас много вызовов, – вмешалась шедшая сзади медсестра, стараясь сгладить острый момент.

Они с врачом вошли в туалет быстро, как хозяйка, так что и кассирша, и Софико неподвижно встали у стены, ничего не говоря и только наблюдая за их решительными действиями. Врач подошёл к Нине, присел на корточки и недовольно оглянулся.

– Что у неё? Какой диагноз?

– Нам сообщили, что рак, – ответила Таня, но получилось по-прежнему едко.

– Рак чего?

– Я не знаю.

– А что вы тогда мне предлагаете? Полис давайте.

– Полиса нет, она гражданка Грузии. Но вы всё равно обязаны оказать помощь, – сказала Таня и опять почувствовала тяжёлое бессилие внутри.

Врач коротко усмехнулся. Он не ощущал брезгливости, спокойно прощупал пульс больной, наклонил голову, чтобы она не проглотила язык и не задохнулась. Но он привык всегда руководствоваться рациональностью, считая, что эмоции в их профессии могут только помешать. И теперь он понимал, что в больнице, куда была прикреплена его бригада, сейчас мало мест, а в онколо-

гическое отделение её просто не возьмут, и потому не имело смысла держать в общей палате умирающую от рака бездомную, когда вместо этого можно было помочь кому-то другому.

– Мы сейчас сделаем укол, – сказал, немного подумав, – ей станет легче.

– Просто укол? – переспросила Таня. – Но через несколько часов опять случится приступ и что тогда? Нужно госпитализировать.

Тот лишь пожал плечами.

– Кетонал, – кивнул медсестре.

– Поймите, у нас десятки вызовов, нас ждут люди, которым мы можем по-настоящему помочь, – ещё раз мягко обратилась та к Тане.

– А от таких сердобольных только увеличивается смертность, – продолжал врач, чувствуя её поддержку.

– Вы обязаны взять, – не сдавалась Таня, но уже без силы в словах.

– Я журналистка, я про вас напишу, – вмешалась Мила с отчаянной и наивной решительностью – так закрыв глаза, бросаются в пропасть, но Тане сразу же стало ясно, что нет, не подействует.

– Да пишите, сколько угодно! – рявкнул врач, а медсестра ласково положила руки ему на плечи, стараясь успокоить.

– Это ваша работа, а это наша...

Таня хотела ещё что-то сказать, использовать, может, последний шанс, чтобы повлиять на ситуацию, и шагнула к врачу, хотя даже не придумала нужных слов. Но в этот момент случайно взглянула на Нину и увидела, что глаза её открыты,

а взгляд осмыслен, и ей показалось, что та всё видит и понимает. Они секунду глядели друг на друга.

Таня выпрямилась, сказала: «Хорошо, делайте укол и уезжайте», потом медленно и даже гордо двинулась прочь. А когда завернула за угол, побежала по вокзальным коридорам, ощущая, что скорее умрёт, чем остановится. Вылетела на площадку перед метро, всей грудью глотнула горький уличный воздух и подскочила к машине. Увидела простодушное азиатское лицо водителя.

– Какой номер бригады? А как врача зовут? – и стремительно бросилась обратно.

Когда она опять оказалась в холле, Мила растерянно стояла у кассы вместе с Софико, а врач и медсестра шли к выходу. Таня встала перед ними, загородив турникет, и, стараясь побороть отдышку, отчётливо, почти по слогам выговорила:

– Александр Павлович, я позвонила на горячую линию министерства здравоохранения, описала ситуацию и сообщила номер подстанции и вашей бригады – двести четырнадцать. Если вы не заберёте эту женщину в больницу, я вас в покое не оставлю.

Они смотрели друг на друга, не отводя ожесточённых взглядов, а врач всё сильнее морщился, как от зубной боли. Но вот, наконец, зло усмехнулся и покачал головой.

– Что вы за люди, где вас таких берут... Давайте, молодцы, сделали своё дело, – обернулся к медсестре, бросил: – Позвони Нурлану, скажи, чтобы тащил носилки. Пусть в приёмном разби-

раются... – а потом отошёл в холл и встал, опершись на стену и прикрыв глаза.

Неловко переключившись на носилки, стараясь меньше дотрагиваться до полиэтиленового мешка. Таня смотрела на это, ещё не веря в то, что всё получилось, и по-прежнему чувствуя бьющуюся внутри злость.

– В какую больницу вы её повезёте? – спросила, стараясь сдерживать дрожь в голосе.

– В 56-ю – городскую, – устало ответил ей врач.

Он взялся за носилки спереди, а шофёр сзади, и понесли, с трудом проходя через турникет, застревая в нём, ругаясь. Мила стояла у стены. Ей было невероятно грустно, и тогда она коротко перекрестила больную, пытаясь подбодрить то ли её, то ли себя, но в следующий же момент смутилась своего картинного жеста и опустила руку.

Шли по вокзальным коридорам – медсестра впереди, освобождая дорогу, а Таня, Мила и Софико следом. Оказались на улице, врач и водитель медленно и осторожно погружали носилки в машину. Врач, не обернувшись, залез в кабину, медсестра попрощалась с холодной вежливостью. Таня и Мила ждали, когда закроются двери, когда заведётся мотор, а Софико стояла чуть поодаль, боясь подойти. Когда же машина уехала, Мила обернулась к ней, обрывисто кивнула, и они с Таней двинулись в сторону подземного перехода.

Софико осталась одна, будто забытая кем-то на этом шумном вокзале, переминаясь с ноги на ногу, шепча про пятьдесят рублей и вздыхая

от своего внезапного одиночества. Ей хотелось плакать даже сильнее, чем когда она сидела у умирающей Нины. «Эх, вот и уехала Нинка», – неловко взмахнула она рукой и попыталась улыбнуться.

А тем временем Таня и Мила шли по краю широкой привокзальной площади, а вокруг стояли, сидели или рвались навстречу множество людей. Немолодой мужчина в толпе монотонно звал на автобус до Ростова. Женщина в капюшоне, почти закрывающем лицо, раздавала листовки у спуска в подземный переход, у неё под ногами ёрзал маленький ребёнок, и она иногда рывкала на него, чтобы стоял смирно. Рядом безногая просила милостыню. Ещё ниже по лестнице сидели двое бездомных, а один с наслаждением курил, откинувшись на грязную стену перехода. Они спускались вниз, и с новой силой хлынули им в глаза лица, лица... А когда вышли на той стороне площади, увидели на пяточке большую стаю голубей, теснившихся вокруг крошечной мусорной урны. Громко звякнул проходящий трамвай, голуби мгновенно взлетели, и весь воздух наполнился торопливым хлопаньем крыльев...

В маленькой квартирке, где девушки снимали комнату на двоих, было пусто, и, войдя, они обрадовались этому, потому что не хотелось ничего сейчас рассказывать соседкам. Пока они шли от метро, на улице начался холодный скупой дождь, и теперь они молча снимали одежду, чтобы раз-

весить на батарее. Таня налила воды в чайник, и он неожиданно громко зашумел, так что Мила вздрогнула.

– Надо будет разобраться с правилами помещения иностранца в хоспис, в больнице её продержат максимум до понедельника, – задумчиво сказала Таня, как бы для себя.

Мила кивнула, но ей стало стыдно, оттого что она даже не подумала, что нужно что-то ещё делать, будто на том, что больную увезла «скорая», всё и закончилось.

– Знаешь, я поняла сегодня, что совсем не люблю людей, никого, – призналась она. – И эта Нина, мне так жаль её, но боюсь, что я и её не люблю...

– Давай помолимся, – спокойно ответила Таня.

Они встали перед большой иконой Богородицы, скотчем прикреплённой к стене возле окна. Миле хотелось быстрее начать произносить молитву, чтобы древние слова захватили её, наполнили успокаивающим размеренным движением, но Таня будто нарочно молчала, позволяя прийти самым мучительным мыслям – она всегда делала всё самым тяжёлым способом, не давая поблажки ни себе, ни другим. А потом долго ещё шумел и трясся чайник, и они не могли начать раньше, чем он окончательно закипит.

Наконец щёлкнуло, и стало тихо. В этот момент в напряжённой тишине резко зазвонил телефон. Мила с выдохом опустилась на стул.

– Юра, – многозначительно кивнула Таня и сразу отметила про себя, какой взволнованный у него был голос.

– Таня, Таня, привет! Я нашёл ту самую Лизу Тусиеву, ты слышишь меня, слышишь? – торопливо переспрашивал Юра. – Оказалось, у неё есть знакомые в социальной службе при Грузинской Церкви, они согласны принять эту женщину и ухаживать за ней...

– Удивительно, – неловко пожала плечами Таня, и мгновенно завертелись в голове мысли. – Подожди, а как её перевезти? Кто-то же должен её сопровождать?

– Реаниматолог, – ответил Юра, не скрывая беззаботного удовольствия от того, что знает профессию, о которой Таня, возможно, никогда не слышала. – Есть, оказывается, специальные службы, которые этим занимаются. Рядом мой хороший друг, я рассказал ему эту историю, мы позвонили ещё двум ребятам и вместе собрали деньги.

Он старался говорить медленно, но иногда получалось взхлёб от радости, что всё получилось – конечно, всё должно было чудесным образом получиться, а они не верили. Мила тоже слышала громкий Юрин голос из трубки, кажется, он ехал в метро и пытался перекрыть шум поезда, и ей было немного обидно, что она так много пережила за этот день и ничего по сути не сделала, а ему всё это так легко удалось.

– Сейчас я еду в аэропорт договариваться о рейсе, – продолжал Юра, но его слова потеря-

лись в отрывистом резком гуле. – ...реаниматолог может вылететь с ней прямо завтра...

– Юра, ты молодец, – устало выговорила Таня и улыбнулась.

Она положила телефон, и девушки радостно и молча обнялись.

Миле вдруг стало так беззаботно, что захотелось прыгать по комнате, петь, танцевать. Но она постаралась вести себя сдержанно, невольно подражая Тане.

– Надо позвонить в больницу, – сказала серьёзно, – чтобы её предупредили, обрадовали.

Таня кивнула, стала искать в интернете точный номер больницы. А когда звонила, ещё не пришла в себя от оживления и потому заговорила весёлым торжественным голосом, будто хотела поздравить кого-то с праздником.

– Здравствуйте, это приёмный покой? К вам сегодня должна была поступить женщина, Нина Марцваладзе... да, которая из Грузии... Мы хотели предупредить вас, что скоро... наверно, даже завтра, заберём её на Родину. Пусть продержится, потерпит еще сутки!

На том конце Таня почувствовала недоумение. А потом глубокий мужской голос медленно спросил её:

– Вы откуда, девушка? Где вы работаете?

– Я соцработник при храме, – машинально ответила она. – Занимаюсь бездомными...

– Не тратьтесь на билеты, женщина скончалась.

– Скончалась, – повторила Таня, сжимая в руках трубку.

Они с Милой посмотрели друг на друга, не зная, что теперь говорить. Таню охватила злость на больницу, на того врача из «скорой». Миле же стало так одиноко и показалось, что теперь уже никогда больше нельзя быть весёлой, нельзя беззаботно ходить в университет, разговаривать там с друзьями, заниматься своими обычными делами, будто ничего не случилось...

– Надо позвонить Юре, – тихо сказала она.

– Да, да, – заторопилась Таня, оживляясь от необходимости что-то сделать.

– Всё, Юр, она умерла, можно расслабиться, – выговорила в трубку, не дожидаясь Юриных вопросов, и сразу же подумала: «Господи, что за нелепая фраза, как так расслабиться...»

Юра секунду молчал, а потом твёрдо и даже слишком спокойно ответил:

– Значит, так должно быть, Тань... Как бы это ни было страшно.

Таня положила трубку и молча сидела, глядя перед собой. Монотонно стучал по карнизу дождь, разрывая тишину. В окне, как в кривом зеркале, отражался огромный, горящий огнями город, изуродованный дождевой рябью. Она смотрела в окно и никак не могла согласиться со словами Юры, думала, что он ещё слишком молод и просто не воспринимает весь ужас случившегося, что на самом деле нет никакого смысла в боли и одиночестве бедной женщины. Потом стала корить себя, что не помолилась перед тем, как пойти к администратору, что до конца не верила в то, что всё получится и что это она во всём виновата...

А через минуту увидела, что Мила закрыла лицо руками, и под села рядом, обняла – было легче, оттого что Мила может сейчас заплакать и что кому-то нужны ещё её крепость и самообладание. Мила же сидела с сухими глазами, не думая ни о чём, просто прижимаясь к Тане, чтобы чувствовать чужое тепло. Медленно текли минуты, и постепенно внутри и правда что-то ослабло.

Конечно, девушки не могли знать, что в свои последние часы на вокзале Нина почти не испытывала боли. Она лежала в забытии, ощущая только холод, как когда-то зимним утром в Тианети на похоронах мужа. Они тогда стояли с дочерью Марией, глядя, как в запорошенную снегом могилу опускают гроб, и Нина плакала не столько о муже, сколько о том, как же им с дочерью жить дальше. И сегодня на вокзале ей всё казалось, что она по-прежнему стоит там и до сих пор длится одно только это мгновение. А когда пробуждалась и слышала, что странные молодые люди собираются везти её в Грузию, то радовалась. И в то же время хотела изо всех сил сказать им, что не просто в Грузию, а именно в Тианети, на старое кладбище на берегу Иори, дожидаться лета, увидеть могилу мужа в цветах и постоять рядом, слушая их негромкий шелест...

В те часы на вокзале Нина уже не помнила свою дальнейшую жизнь – как поехала в Москву на заработки, чтобы содержать дочь, оставив её в доме у сестры, как ей сообщили, что Мария заболела, и как не было денег на билеты. И только когда русский врач наклонился над ней, Нину

пронзила лихорадочная мысль, что укол нужно делать не ей, а Маше, но в следующее же мгновение она опять провалилась в зыбкое ожидание...

Последние пять лет после смерти дочери она жила в Москве, уже не зная, зачем ей этот чужой город, зачем работа и деньги, привыкнув к размеренной тяжёлой жизни и не решаясь что-то изменить. Но даже в эти годы Нина иногда бывала счастлива. Это случалось по утрам, когда ещё только светало, и она стояла в переходе у входа в метро, открывая большие железные щиты своего киоска. Сердце её вдруг сжималось неясной радостью, и она начинала весело брызгать водой в сонные лица цветов, протирать разлапистые листья. В такой день всё спорилось у неё, клиенты попадались приветливые и щедрые, торговля шла бойко. А вечером она выходила из перехода на улицу и шла, глядя в мутное московское небо. И ей отчего-то казалось, что всё не зря, что её боль сохранилась где-то внутри, но уже не как мука, а как самое дорогое, что было на свете и что теперь навсегда останется с ней...

Последний раз она пришла в себя, когда её уже подняли на носилки, и увидела перед собой девушку в синей медицинской куртке, так похожую на её Марию, и подумала, что та выросла и приехала к ней в Москву. Нина улыбнулась ей, та взглянула тревожно, пошла сначала рядом с носилками, а потом обогнала. Тогда другая девушка, оставшаяся стоять у стены, маленькой, чуть сжатой ладошкой перекрестила их на прощанье – Нине стало тепло, и боль исчезла навсегда.

Вторую ночь ярится ветер,
Играя силою дурною,
Словно и он, как вражьи дети,
Решил идти на Русь войною.

Как объяснить его рычанье
И беснованья подоплёку?
Возможно, знают англичане,
Да больно путь до них далёкий.

И, если спросим, вряд ли скажут,
Всё сразу превращая в тайну.
Мы с ними в разных экипажах
Плывём по морю не случайно.

На их грот-мачте реет роджер,
Пиратской дерзости отрепье,
А наш державный стяг всё тот же
И то же в нём великолепье.

Мы лик Спасителя, как знамя,
Привыкли видеть над собою,
Когда идёт сразиться с нами
Разбойный люд, готовый к бою.

И потому скулёж и ярость
Врага любого в грош не ставим,
Чтоб вечным светом озарилось
Лицо Отчизны – к Божьей славе.



**Олег
ИГНАТЬЕВ**

Поэзия



Забудьте, милые, забудьте
Враньё о равенстве в миру:
Уже шпицрутены и прутья
Грозят нам казнь поутру.

Уже враждебные заклятья
Свиваются в секущий жгут.
Свободы жёсткие объятъя
Стесняют веру, душу мнут.

И только братство, только братство
Не во плоти, а во Христе,
Даёт нам право не сдаваться,
Не оставаться на кресте.

Опять бойцы на танковой броне
К десанту, как приказано, готовы.
Ещё не время думать о весне:
Взметает ветер снежную полову.

Да и морозец давит – будь здоров!
Ему во все века не жаль пехоту.
Но греет Богородицы покров
Того, кто помолился ей с охотой.

Кого сейчас по-братски ни спроси,
Любой солдат уверенно рассудит:
Победа, что нужна святой Руси,
Как и во все века, за нами будет.

Вот почему в согласие с ним и я
Хочу сказать, нисколько не зверея:
– Страна моя не мальчик для битья,
Она сама кого угодно взгреет. –

Все чутко ждут одной команды: – В бой!
Когда уже нельзя ушами хлопать,
И каждый танк оставит за собой
След гусениц и дизельную копоть.

И в этот миг почувдится в ночи
Тому, кто возвращается с гулянки,
Что где-то в отдалении звучит
Суровый марш «Прощание славянки».

Не терпит жизнь ни лак, ни ретушь,
И в гуще сельского труда
Я слышу твёрдый говор: – Нет уж,
Мы от земельки – никуда.

И верно, что мы без землицы,
Родной, намоленной земли,
Когда в селе или в станице
Мы вместе с вишнями цвели.

А слобожане и поныне
У дома лепят огород...
Века минуют! Не остынет
Любовь к земле. Наоборот

Она усилится с годами,
С любой управится грозой,
Чтоб свет земной сиял над нами
Цветастой радугой-дугой,

Как летний сад зеленокрылой
И лёгкою, как тень крыла,
Чтоб Русь родная с новой силой
Вершила славные дела.

Степная даль в июле золотиста,
А к августу – цыганисто смугла,
Не зря в неё влюблялись гармонисты,
Страдая по околицам села.

Нет, в самом деле, это ли не чудо,
Что сердцу с каждым годом всё слышней
Далёких лет сорочьи пересуды
И чьё-то понуканье лошадей?

Уж не моё ль, когда, двуконкой правя,
Возил я воду в бочке на культстан,
К прижизненной своей мальчишьей славе,
Которой был когда-то обуян?

Мне радостно, что был я водовозом,
Что льнёт душа к той дивной стороне,
Где пляшут ливни, бьют крылами грозы
И юность возвращается ко мне.

А следом – непонятное волнение,
Предчувствие любви ли? Вещих слов?
Как будто я достоин откровенья
Не только наших сельских петухов.

Чем бы и как ни хвались я,
Как я там ни куролесь,
В осени есть что-то рысье,
Что-то коварное есть.

Даже кружа редколесьем,
Даль озирая и близь,
Чуть зазеваешься если,
Сзади окажется рысь.

Ярым смертельным ударом
Шею ломает, губя.
Кровь, исходящую паром,
Выпустит вмиг из тебя.

Зря ли калина краснеет,
Зря ли рябина красна?
Вдруг повстречаюсь я с нею
Или со мною – она?

Вдруг я беды не замечу
И поплачусь головой
За мимолётную встречу
С жёлтой и рыжей листвою?

От глаз чужих себя надёжно спрятав,
Листвою затенённый соловей
С восхода и до позднего заката
Округу тешит радостью своей.

Она передаётся ненароком
Любому, кто способен ликовать,
Кому впривычку думать о высоком,
О том, что небу ясному под стать.

Забудет ли душа моя мгновенья,
Когда, смиряя сердце, второпях
Она искала негу и забвенья
В ромашковых и маковых полях?

В страдании душа себя стыдится,
Желает в тайне муку превозмочь.
Но ей не стать вовеки Божьей птицей,
Когда от Бога откачнётся прочь.

И со времён и до времён Батыея,
Нет света ярче храмовых лампад,
Где мученики наши и святые
О крестной силе с нами говорят.

Высокий слог кого-то страшно бесит,
Пугает силой, красотою слов,
Но ради жизни, ради русских песен
Я славлю наш исконный путь Христов.

Отыграло светом половодье
И на берег выбрался ивняк,
Где сырые конские поводья
Лето намотало на кулак.

Встряхивает гривой смоляною
Мерин кособрюхий подо мной
И трусит дорогою степною,
Жалуясь костистою спиной.

Я мечтал сидеть в седле героем,
А сажу подпаском без седла.
Да и то, дают коня порою
Выкупать в реке – и все дела.

Но и всё же, детство свищет звонко,
На хребет подсаженное – оп!
Ёкает лошажья селезёнка.
Ну-ка, рысью, рысью – и в галоп.

Чтоб метнулись резвые полыни
Удали моей наперехват
И отстали где-то на равнине
Меж плетней, завалинок и хат.

Чтоб свечой во мгле потусторонней
Виделось родное поле мне,
Да поигрывал пером вороньим
Ветер на запаханной стерне.

Мне уже туда не возвратиться
Выросшему на солончаках,
Где заря, как рыжая лисица,
Рыщет в придорожных лопухах.

Не сыскать утраченного мною,
Хоть какая выгляни луна,
Оттого и грустно мне весною,
Зябко у раскрытого окна.

ИРОНИЧЕСКАЯ ПРОЗА

Июль чудил, и я подался в Эскулапы –
Кишки выматывать, над связками скучать,
Есть в «анатомке» пирожки и эскалопы,
Сквозь дырки в черепе сокурсниц изучать.

Я к формалину привыкал, как рудокопы
Куриль в забое отвыкают, и друзья,
Раблезианский приноравливая опыт,
Подружкам на дом слали то, чего нельзя.

Горели замыслы в пространстве узколобом!
А я себя искал в лягушках и ужах
Не оттого, что был ужасным остолопом,
Всё потому, что я с дробями на ножах.

Я изнурял мозги клиническим мышленьем,
А верный друг мою невесту охмурял.
Противоречия родного поколенья
В глубина жизни разрастались, как коралл.

Я был зануда, словом, лёгок на помине,
И пыль учения осела на ушах.
Ау, классическая музыка латыни!
Твой раб высвистывает шлягер, аки птах.

Он мир горячечный, болезный, в свете новых
И в свете старых снов, под лёгкий шум дождя,
Насквозь прощупает, прочтёт, как рентгенолог,
А снимки мокрые опишет погода.

Стонет ветер, лишившийся крова!
И, охваченный холодом, я
С полувзгляда пойму, с полуслова,
Что я больше тебе не судья.

Кем-то третьим приручена сила,
Расчленившая напополам
То, что нас на земле единило
И даровано было лишь нам.

Так зачем в поминание наших
Недосказанных слов и речей,
Ты давала сцеловывать наспех
Блики света на тёплом плече?

Так зачем, с покаянною болью
Снова душу пустив на распыл,
Я люблю тебя первой любовью,
О которой и думать забыл?

Стонет ветер! Внезапно опомнясь
От признаний твоих второпях,
Что людей обручает бездомность
Да ещё одиночества страх.

Что в душе с наступлением ночи
У тебя просыпается зов
И кликушествовать, и пророчить,
И учить вот таких дураков.

Мне о счастье пели ковыли
В том краю, где всё для сердца мило.
Вот и жизнь всходила от земли,
Песенной исполненная силы.

С ней делились радостью репы,
Брали в хоровод паслён и кашка.
Сельская околица в степи,
Ты – моя крестильная рубашка!

Память о минувшем распросив,
Сидя на завалинке у хаты,
Вижу, как бы ни был мир красив,
Здесьние красивее девчата.

Может, оттого, что ближе к ним
Вишен и акации цветенье?
Красоты секрет неизъясним,
Как неизъяснимы сновиденья.

Только жизнь моя отнюдь не сон,
Хоть и были в ней свои химеры.
В этом тоже тайный есть резон,
Чтоб смотреть на мир глазами веры.

Вот мне и подумалось о том,
Что по жилам кровь течёт не пресной.
И что Русь извечно со Христом
Распинаема, чтобы воскреснуть.

На исходе летних суток
Воздух голосист.
Я не вижу быстрых уток,
Слышу крыльев свист.

Видно, зрение подводит,
Но спасает слух.
Так спасительней в народе
Не душа, а дух.

Цари, священники, пророки,
Ткачи, жнецы и мукомолы,
Мы все, как бы в одном потоке
Одни используем глаголы,

Когда творим свои молитвы
И просим Божеской защиты
Всем воинам на поле битвы,
Теснящим вражеских наймитов.

Всем людям, Господу известным
С рождения и до кончины,
Кто силе радуется крестной
И не привык менять личины.

Кто не шагает с ветром в ногу,
Уныло опуская плечи,
И, если падает пред Богом,
То и встаёт Ему навстречу.

Кто знает: нет молений лишних,
И мысль заветную голубит:
Как мы ни любим наших ближних,
Господь их всё же больше любит.

Я кликну степь, и та приедет,
Примчится тройкой лошадей,
И все московские соседи
Повысунутся из дверей.

Их подкапотные коняги,
С турбонаддувами и без,
От зависти на брюхо лягут
И косо глянут на прогресс.

Отбросят «мерины» копыта,
А их владельцы меж собой
О детстве вспомнят позабытом
И к тройке двинутся гурьбой.

Не шутка ли – живые кони!
К ним близко можно подойти
Иль «сфоткать», стоя на балконе,
Нацелив мощный объектив.

И тут же, чудный кадр отметив,
На сайте выложить его,
Чтоб жизнь предстала в лучшем свете
И не пугала никого.

А внук мой, стоя рядом, с краю,
Увидел, радостен и тих,
Как я привычно распрягаю
Моих залётных, огневых.

Год за годом, срок не мал,
Вечером сиреневым
Приплетаюсь на вокзал
За прошедшим временем.

Сколько видел мир земной
Демонов да идиолов,
Но, узрев тебя со мной,
Люто позавидовал.

Позавидовал, да так,
Что однажды вечером
Умыкнул тебя сквозняк,
Налетевший кречетом.

Вспоминаю образ твой
Неизменно девичий
И вздыхаю, ангел мой,
Сам себя жалеючи.

На ветру знакомый клён
С липой обнимается...
С глаз долой – из сердца вон?
Нет, не получается!

БАЛЛАДА О ЯБЛОНЕ

Когда запоздалым утром враги покидали город
Разграбленный и разбитый, познавший свою
беду,
Они убивали кошек и жгли на пути заборы,
И только один каратель работал в чужом саду.
Он, видимо, был садовник, поскольку легко
и точно
Обычным ножом солдатским обрезал
фруктовый ряд,
И только у самой крайней, у яблоньки
худосочной
Топтался довольно долго, хозяева говорят.
Он хитро пометил ветви, какие-то почки срезал,
Каким-то ему известным раствором смочил кору
И, хлопнув тугой калиткой, обитой листом
железа,
Ушёл догонять собратьев по плахе и топору.
Он был золотым, тот немец, умельцем в своей
округе,

Но лучше б не знать об этом! О, если бы раньше
знать!
У яблоньки через годы, сквозь грозы, дожди и
вьюги,
На свастику стали ветви похожими отрастать.
Они пучеглазо-нагло торчали в саду весеннем,
От них отлетали пчёлы, гудящие как сверло,
Они отдавали силы крапивному запустению,
Им руки арийской шуткой, как судорогой свело.
Я знаю, страданье можно почувствовать даже
взглядом,
Но как передать страданье раненого ствола?
От ветра темнело небо, и лист одинокий падал
На будку глухой дворянки, и снова метель мела.
Хозяин махнул рукою – не дерево, а досада!
И мы обломали сучья, раскачиваясь на них.
А яблоне только это, наверно, и было надо...
О, как она плодоносит, ожившая для живых!

Сгорбатели ветра дворовый тополь.
Но всё же зелены его крыла,
Как зелен в мае город Севастополь,
Который вновь Россия обрела.

Душе обрыдли вражеские вопли!
Хотя понятно: как ни балагурь,
Из нечисти не выбить и оглоблей
Безумием взлелеянную дурь.

Как пращурь, стараясь не прохлопать,
Не проморгать предательство бояр,
Мы все должны и в храмах, и в окопах
Молиться Богу и держать удар.

Молиться за Донбасс и Запорожье,
За Киев – мать наших городов,
За тех, кто умоляет Матерь Божью
Держать над ними чудный свой покров.

Уставшему от всяческих новаций,
Мне радостно, что есть кого любить.
А то, что за Россию нужно драться,
Об этом можно и не говорить.

КЛУБ «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПЕТЕЛЬ»

Каждое утро, просыпаясь, Римма видела над собой белый гипсокартонный потолок, и взгляд её долго не мог переключиться на что-либо иное, потому что подступали воспоминания и грустные мысли. Но поднималась через силу, машинально готовила завтрак, одевалась, шла на остановку, ехала в толпе других пассажиров. Домой возвращалась пешком.

Уходить с многолюдных городских улиц не хотелось. Среди людей не так тяжело, да и время бежит гораздо быстрее. Римма бесцельно бродила по холодному бульвару. Иногда заходила в кафе и пила кофе, наблюдала через витражные окна, как сменяли друг друга автомобили в пробках, семенили по наледи сапоги. За окном зароились снежинки. Они кружились в воздухе, и чудилось,



**Лилия
ЖИДКОВА**

Проза



что летят с земли на небо, а не наоборот. Сумерки сменил ранний зимний вечер.

И так – день за днём. Римма чувствовала себя маленьким винтиком в большой отлаженной системе МФЦ.

Перед открытием Римма в белой блузке с фирменным платком на шее смотрела на свои наручные часы, и едва стрелки убегали за восемь, она должна была отбросить прочь всю боль и доброжелательно улыбаться посетителям. Её учтивость и терпение ценило начальство, поэтому Римме достался сектор запросов по пенсиям и компенсациям.

Скандалистов хватало, и сложно было объяснить, что без определённой справки или подтвержденного стажа в пенсии откажут. Никакие уговоры, что это требования закона, не действовали. Угрожали расправой, выливали на них, а следом и на законодателей, всё накопившееся раздражение, бранили чиновников. Уходили и приходили снова. А потом наступало бессилие от того, что когда-то давно в отделе кадров по безалаберности других вовремя не внесли данные, или от того, что получить сведения о работе в союзной республике, а сейчас в другом государстве, не представляется возможным из-за утери архивов, реорганизации, а то и вовсе закрытия предприятий. Чаще всего, потеряв всякую надежду, пережив все стадии принятия неизбежного, люди махали руками на запрос: «пусть оно горит синим пламенем».

За многолетнюю работу Римма успела повидать всякого. Удивить её было сложно. Но в последние дни ровно к восьми к ней в окошко обращалась бабушка. Она не хамила, не требовала, раз за разом выслушивала, что ответ из Ташкента ещё не пришёл, что каждый день ходить не надо, лучше набраться терпения, так как ждать его придется в течение месяца, а в практике и полугода.

Бабушка дружелюбно кивала, расправляла платок.

– Господи, милая, а никак нельзя их поторопить? У вас же компьютеры и интернет какой быстрый, боюсь, не дождусь, – бабушка прижала руку к груди.

Римма, глядя на тревожное лицо в морщинах, не могла оставить пожилую женщину и сдвинуть очередь талонов дальше.

– Прасковья Павловна, вам плохо? Скорую вызвать? – Римма сквозь стекло увидела, что лицо бабушки становилось бледным.

– Сердце маленько барахлит, ничего, сейчас пройдёт, – Прасковья Павловна судорожно нашарила в кармане пальто коробку с таблетками, но она оказалась пустой.

Римма быстро набрала номер «скорой помощи», а сама нашла в сумке пузырек, накапала двадцать капель в стакан с водой и вышла к бабушке из-за перегородки, разделяющей их.

Прасковья Павловна отдышалась, пришла в себя:

– Ой, спасибо тебе, доченька. Я всегда с собой лекарство ношу, а тут как говорят: и на старуху бывает проруха. Добрый ты человек, как отплатить за твою сердечность? А приходи к нам в гости, мы тут недалеко живём с внучкой, от меня ей ближе к медучилищу, чем от родителей. Семья у меня небольшая, дружная. Чайку попьем, вареньем угощу. Если понравится – рецептом поделюсь.

– Прасковья Павловна, нам не положено, мы же сотрудники государственного учреждения, – Римма пыталась мягко и аккуратно отказаться.

– Вы что же тогда не люди, и в гости вам запрещено ходить? – будто позабыв, что в заявлении указано её местожительства, Прасковья Павловна достала из пакета очки и непослушной пляшущей рукой написала на обратной стороне своего талона адрес, ловко вложила в ладонь Риммы.

– Я буду вас ждать, спасибо вам сердечное, – Прасковья Павловна тихими шагами направилась к выходу.

Ни в среду, ни в четверг и даже в пятницу Прасковья Павловна в МФЦ не пришла. Римма не на шутку забеспокоилась: по оставленному в заявлении телефону слышались только гудки, а ответ на запрос из Ташкента пришёл, на удивление, быстро.

В субботу Римма решила пройтись и узнать, в чём же дело. По внутренней инструкции такое категорически воспрещалось. «В выходной день

я могу просто проверить. Да и что в этом такого криминального?» – думалось Римме, сжимающей в руке бумажку с адресом.

Не замечая времени, она дошла до маленького домика с палисадником. Единственный уцелевший дом среди многоэтажных новостроек.

Дверь открыла весёлая девушка. Казалось, что даже веснушки на её лице улыбались.

– Бабуль, это к тебе, – крикнула вовнутрь дома, как оказалось, внучка Прасковьи Павловны, – Да вы не стойте на пороге, проходите.

Римма вошла, не зная, куда себя деть. С ботинок её начал таять снег и пачкать полосатый домотканый половичок.

– Никто трубку не брал, а ответ по вашему запросу уже пришёл, – Римма растерялась, заметив лужицу под ботинками.

– О, это ты, милая! Не переживай, разуйся, сейчас мы с Анютой тебе чувяки дадим. А телефон не работает, провода залипли от мокрого снега, мастер не спешит. Какую хорошую новость ты принесла! – обрадовалась Прасковья Павловна.

Усадили пить чай с яблочным пирогом.

За дверью кухни в малой комнатке выступал из тени комод, на котором стояли старинные фотографии в рамках; в середине стоял круглый стол с включённым абажуром.

– Пожалуй, мне пора, – Римма чувствовала неловкость, будто пришла не вовремя.

– Ну, что ты, сейчас гости нагрянут, сама всё увидишь. Выдумщица у меня внучка, решила

клуб собрать «Двадцать восемь петель», но дело толковое, приносит добро и пользу, – Прасковья Павловна подливала душистый травяной чай в кружку Риммы.

– Да, сейчас наш домик превратится в особенное место, – щебетала внучка Аня, и переливы её звучного голоса вместе с пёстрыми локонами, крашенными в разные цвета, добавляли сходства с небольшой птичкой.

– Что значит двадцать восемь петель? – Римма с удивлением смотрела на Прасковью Павловну и Аню.

– А ты, моя дорогая, дождись и всё узнаешь, – погладила хозяйка Римму по плечу.

Часы пробили пять. И вскоре последовала череда звонков в домофон. Комнаты наполнились людьми и разговорами.

Приехала дочь Прасковьи Павловны – кругленькая, юркая, живая Ольга Михайловна. Вслед за ней с мороза внёс ящик с пряжей мужчина, которого представили просто Адамычем. Большой, неуклюжий, но сразу почувствовалось – добрый, он никак не мог пристроить свой ящик. Последней пришла тихая, улыбчивая Татьяна. Вероятно, стеснительной её сделало большое родимое пятно на щеке, невольно приковывающее взгляды.

Римма до конца не могла понять, что же их может объединять. Пока они все не уселись за небольшой круглый стол под абажуром.

– Двадцать восемь петель – ровно столько нужно, чтобы связать маленькие носочки

нашим «торопыжкам», – с теплом ответила Ольга Михайловна. Она ловко орудовала спицами и шаром разноцветной пряжи, будто жонглировала. От неё веяло добром. Пухлые ручки вальсировали в воздухе, словно Ольга Михайловна продолжала вязать и без спиц. Римме при их первой встрече запомнились руки, необычайно плавный, бархатный голос и рыжие короткие волосы.

– Каким «торопыжкам»? – Римма не поняла сразу.

– А тут и понимать нечего, – с гордостью продолжила Прасковья Павловна, – мы вяжем для малявок, появившихся на свет раньше срока. Медицина сейчас другая, спасают недоношенных, в пятьсот граммов. Тридцать лет назад это было бы чудом.

– Да, мама знает, о чём говорит – всю жизнь акушеркой трудилась. Мы вяжем из шерсти. Волокна натуральные, колючие, трутся о ножки малюток, создают естественный массаж. Такая одежда не только греет – с теплообменом при маленькой массе проблемы, но ещё и стимулирует кровообращение. Дело ещё в том, что малыши, если крепко уснут, могут забыться и не сделать вдох, а вязаные вещи не дадут такому произойти, не будет остановки дыхания, – объясняла Ольга Михайловна.

– У нас, видно, это семейное: бабушка – акушерка, мама – педиатр, а я только учусь на медсестру. Мы вяжем не только носочки, но ещё и кофточки, жилетики, шапочки, одеяла, игрушки-комфортеры в виде осьминогов, – добавила Аня.

– В последнее время вяжем для наших ребят на СВО, носки, варежки, балаклавы, – не отрываясь от спиц, включилась в разговор Татьяна. Голос у неё был молодой, а внешне она показалась Римме гораздо старше своих лет.

– А вы что, тоже вяжете? – Римма обратилась к Адамычу, скромно молчавшему всё это время.

– Адамыч? Он у нас вообще – местная легенда: и швец, и жнец, и на дуде игрец. Рассказать? – отозвалась вместо него Ольга Михайловна.

– Ой, да бросьте, – махнул рукой Адамыч и покраснел.

Увиденное, услышанное было для Риммы в новинку. Провожали её все с теплом и добротой.

– Возьмите домой моих блинов. Мужа накормите. Детки у вас есть? Гостинчик передать? – хлопотала Прасковья Павловна.

– Вы знаете, я одна.

– А почему?

– С мужем давно развелись. А сын погиб на Донбассе...

С новой силой на Римму обрушились воспоминания о сыне. В первый раз слёзы сами наворачивались на глаза. В первый раз, возвращаясь домой с гостинцем, она поняла, насколько теперь одинока.

«Новости об Амуре перестали приходить в конце июля, когда шёл второй год СВО. Долгие четыре месяца ожидания, хрупкой надежды, что жив, в госпитале с ранением, пускай тяжелый, но живой – выходим, справимся. Письма, запросы,

звонки, сбор её ДНК. «Пропал без вести. Ждите». И гнетущая боль в душе, интуитивное предчувствие, когда позвонили в домофон. На пороге стоял молодой человек, как позже выяснилось, сослуживец сына, имя его она в волнении не запомнила. Едва он поднял свои глаза, она без слов всё поняла.

«Римма Юсуповна, – он долго не мог подобрать нужных слов, – Амир погиб. Я был рядом и видел, как он упал на землю. Крепитесь.

Обожгло внутри, разорвало на части материнское сердце. «Страшный сон. Не со мной!» А чуть позже: «Нет Амира. И меня теперь тоже нет».

В комитете солдатских матерей утешали: «Римма, хоть так, похоронишь на родной земле, успокоишься, прийти к нему на могилу сможешь. А сколько нас, не ведающих, где они полегли и как?»

Хоронили в селе в тридцать дворов, где жили отец и мать Риммы, где Амир почти всё детство, юность провёл с ними и их очень любил. Казалось, тысячи людей провожали в последний путь – как только уместила единственная крохотная улица от мечети до магазина. Мулла в своей речи обвёл рукой толпу, и в полной тишине сказал: «Амир погиб за всех нас. Всех нас! Он защищал маленький дом своих предков, самый обычный, единственно родной. Вот эту улицу, которую он исколесил на велосипеде в детстве и которая казалась больше Вселенной. Свою маму. Он добровольцем ушёл на фронт в свои неполные двадцать три года. Ему не нужны были деньги или слава...»

Римма помнила тот короткий разговор по телефону:

«Мам, я так решил. Это только мой выбор. Не волнуйся. Всё будет хорошо»

Он так мечтал защищать людей, но ни в правоохранительные органы, ни в МЧС сына не взяли – не прошёл по состоянию здоровья. Однако по окончании юрфака он уехал вместе с другом на гражданскую должность в воинскую часть в Псков. Оттуда добровольцем ушёл на фронт: «Мам, ну как я брошу моих пацанов-десантников?»

Мысли не давали покоя. Она знала поверье: чем больше оплакивать близкого человека, тем больше в его могиле будет воды. Но разве унять боль предубеждением? На днях ей послышался его кашель за стенкой, спросонья набрала воды на кухне, взяла лекарство, включила свет и опомнилась – в комнате сына всё было по-прежнему: под покрывалом кровать, стол с недоклеенной моделью самолёта, стопка учебников по уголовному, гражданскому праву, кодексы. Она открыла шкаф, едва касаясь рукой, прошла по рубашкам, джемперам, футболкам: они всё ещё хранили аромат его любимого парфюма.

В гостиной на журнальном столике стояла фотография Амира с черной лентой, стопка писем, перечитанных бесчисленное количество раз. С фото на неё смотрели весёлые искорки в карих прижмуренных глазах сына. Казалось, что свершится чудо: от лифта прочеканят уверенные шаги, в двери провернётся ключ, опустится на

пол запыленный рюкзак, и родной голос скажет: «Есть кто дома?»

Римма долго стояла у двери своей пустой квартиры и не могла опомниться, сжимая пакет с блинами.

Рабочая неделя подходила к концу и впереди ждали выходные.

В субботу Римма затеяла уборку. Но, перебирая вещи, всё сильнее тосковала. Проходила мимо зеркала в прихожей и словно увидела себя заново: глубокие морщины, гусиные лапки, мешки под глазами... Римма растерянно села на пуфик и долго, не желая узнавать себя в отражении, глядела безучастно на эту неизвестную ей женщину.

Прогулка на свежем воздухе не помогла. Люди отчего-то раздражали. Словно сговорились, повсюду попадались «мамочки» с колясками. Смеялась и играла в снежки детвора. Студенты кутили, отмечали день святой Татьяны несмотря на то, что на календаре уже двадцать седьмое января. В глубине души бродила обида – у нас в стране второй год СВО, а они тут устраивают пир во время чумы. И почудился родной голос Амира: «Мам, у молодости должен быть размах. Ну разве они виноваты в том, что день чудесный – светит солнце, искрит снег? Жизнь продолжается»

Неспешно ноги сами привели Римму к порогу небольшого кирпичного дома с деревянной орнаментальной дверью, вскрытой морилкой,

с проёмом и надписью «Briefe und Zeitungen». О переводе которой несложно догадаться: «Письма и газеты». Оливкового цвета ставни распахнуты. Солнечный свет заливал комнаты. А перед домом – низкорослая берёзка, на ветках которой собирался снег.

На звонок в дверь откликнулся бойкий голос Прасковьи Павловны: «Одну секунду, иду-иду».

– О, детка, не стой на морозе! Я знала, что ты непременно вернёшься, – старушка сегодня была оживленнее, чем в прошлый раз.

– Простите, я не помешала? – Римма огляделась по сторонам и никого из вязальщиков не увидела.

– В самый раз. Анюта ещё в училище. Посекретничаем, поставим с вами чайник и попробуем Ольгиного абрикосового варенья. У них с зятем дача, в прошлом году урожай был на славу.

Прасковья Павловна показала Римме на мягкий диванчик, спинку которого укрывало бархатное покрывало с оленями.

Большой пузатый чайник закипел. В фарфоровые чашки полился янтарный чёрный чай, на стол выставили повидло, цукаты, пряники. Даже в том, как расставлены чашки на скатерти, чувствовались уют и доброта.

– Чем богаты тем и рады. В моём детстве о сладостях мы только мечтали. В блокаду выжили благодаря моей бабуле-немке. Она запирала буфет на замок и по часам выдавала нам лепешки из горчицы. А потом и горчица кончилась... Позже нас с сестрой переправили по Ладожскому озе-

ру в Ярославскую область. Что это мы о прошлом, оно давно позади. Надо быть оптимистами, не вешать нос. Господь даёт нам столько испытаний, сколько мы осилим выдержать. У вас, моя милая, тоже горе...

Римма держалась, но подступающий ком в горле давил.

– Плачь, моя хорошая, пока плачется. Повидала я столько боли людской. Кажется, должна бы огрубеть к моим годам, но душа живая, не железная. Я ведь тоже потеряла своего первенца. Мне ли тебя не понять? Если бы не Ольга да Анюта, то и смысла в жизни не осталось бы. Анюта у нас вообще добрая душа. Вычитала в интернете, что в Казахстане есть клуб вязания для недоношенных деток, пришла и говорит: «Бабуль, почему же у нас в городе такого нет. Надо его создать!»

Прасковья Павловна всё говорила, её речь была проникновенна и доверительна, Римма как-то само собой успокоилась, пила терпковатый индийский чай с вареньем, смотря в окно. Там соседский черно-белый с подпалинами кот переминался с лапы на лапу, очевидно, ожидая, когда его впустят в дом. Думалось о том, как же там за стеклом, наверное, хорошо весной и летом.

Незаметно Римму увлекло вязание крючком. Римма вязала носки для ребят на фронт, представляя, что они для Амира. Она вкладывала в них всю нерастрченную любовь, нежность,

теплоту и заботу. Она чувствовала, что чем-то малым вносит и свою лепту в будущую победу.

За столом часто велись оживлённые беседы. Ольга Михайловна настаивала на простоте изделий и быстроте изготовления. Остальным же хотелось создать «торопыжкам» что-то необычное. Для нужд СВО старались сделать универсальные вещи, хотя Аня умудрялась вышивать на оборотах маленькие сердечки.

Вязальщики не переступали черту в извечном вопросе что же лучше: крючок или спицы?

Но случались поединки: выбиралась конкретная модель вещи и соперники неистово старались доказать всем, что первенство будет за ними.

Последнее слово оставалось за Адамычем. Он брал увеличительное стекло, долго крутил изделие в руках, подносил к лампе, выворачивал наизнанку и, лукаво улыбаясь, выносил окончательный вердикт: «Быть добру. Ничья» или, например, «Кривить душой не стану, победа сегодня за крючком». Вслед Прасковья Павловна предлагала чай, кофе с бутербродами.

Временами становилось жарко и среди приверженцев спиц, страсти бурлили вокруг вязания носков: по старинке – на пяти спицах, либо на новомодных круговых – техникой «меджик луп».

Римма следила за Адамычем и сначала не находила ничего примечательного: крупный мужчина средних лет, с усами по манере «Песняров», в клетчатой рубашке, улыбался он только губами, а глаза всегда были грустны. И в том

усматривалась потаённая сердечная боль, которую он переживал сам. Раз пропустил Адамыч собрание вязальщиков. И Римма не на шутку обеспокоилась: не заболел ли?

– А почему Адамыч – легендарная личность? И почему его сегодня нет? – спросила Римма.

– У него удивительная судьба. А вот остался добрым и отзывчивым человеком, – улыбнулась Прасковья Павловна.

– В юности он случайно сбил пешехода и попал в колонию для несовершеннолетних. Вернулся и был призван в армию, служил на границе. Потом женился, его жена была доброй женщиной, вместе детей воспитали. Тут девяностые, выживали, как могли. Адамыч – смекалистый, быстро сообразил и оборудовал в подвале своего дома цех по пошиву курток, вязке свитеров, прикупил швейные и вязальные машины и каждую неделю отправлял партии товара на Черкизон. А с другом оснастил цех по пошиву джинсов. Я в том цехе закройщицей работала. Что греха таить, Адамыч меня тогда от бутылки буквально спас. Чужие лейблы не использовали, выбивали на изделиях свой логотип: «Калиф оф формия». Любил он тогда слушать западные группы, вроде «Eagles» с их «Отелем Калифорнией», а у друга фамилия подходящая – Калифов. Потом занялся пчеловодством. Но вязать не бросил, теперь, правда, сам и вручную, – рассказывала Татьяна.

– А сегодня его нет, потому что он гуманитарку повёз на фронт, – с глубоким уважением сказала Ольга Михайловна.

– Адамыч не теряет дружбы со своими пограничниками. Они вместе собирают, что необходимо – крупы, сахар, сгущенку, конфеты. Недавно просили сало передать и хотелось домашних котлет нашим ребятам. Так он изловчился, купил фарш, они с женой нажарили и залили жиром, заморозили, чтоб долго не пропало. А пчелиным воском Адамыч заливает пустые консервные банки, получается что-то вроде свечи. В полевых условиях и еду разогреть, и пахнет мёдом, словно дом рядом, и в окопах теплее. Везёт бойцам, они ему теперь все родные. Там у него сын погиб, – добавила Татьяна, и все стихли.

– Сын? – устала на всех Римма.

– Да, моя хорошая, – подтвердила Прасковья Павловна. – Поэтому он и понимает, что ты пережила, как никто другой.

– А почему бы тебе не связать что-нибудь деткам? – задала как-то прямой вопрос Римме Ольга Михайловна.

Римма откликнулась. Глядела на крошечный связанный ею жилетик и никак не могла поверить, что он вовсе не кукольный, а для маленького живого человечка. Все изделия не имели грубых швов, негласно существовали правила – нешивать к ним пуговицы, бусины, стразы, чтобы было максимально безопасно и аккуратно.

Искусно выходили у Риммы игрушки «осьминожки» – она комбинировала элементы крючка и спиц. Ей было приятно думать, что осьминоги

напоминают ребёнку о связи с мамой: чувствуя её рядом, у детей наблюдались прибавки в весе, стабилизировалось дыхание, и они гораздо быстрее приходили в норму, чем те крохи, у которых игрушек не было.

Отвозили связанное Адамыч и Ольга Михайловна, которую в роддоме знали хорошо. Не раз она помогала спасать детские жизни, консультировала, летала по участкам – своим и соседним, так как педиатров сильно не хватало, новички быстро сбегали от работы в поликлинике. Вела потом тех самых «торопыжек», подросших и окрепших. Муж поначалу ругался, что тратит и без того маленькую зарплату на медикаменты, что она безотказная, в любое время дня и ночи её тревожили, она вставала и беспрекословно шла спасать. А потом смирился, пожимал плечами: «Она уже по-другому не может».

Когда Ольга вышла на пенсию, муж ультимативно сказал: «Нет, жена! Полвека отдать чужим детям – это перебор. Когда ты будешь жить для себя, для своей семьи?» Она впервые подчинилась, но скоро среди грядок и борщей, с непонятными ток-шоу по телевизору, поняла, что клятву Гиппократу она дала раньше клятвы в ЗАГСе. А тут дочь устроила клуб вязальщиков. И с тех пор все знали, что вечер субботы у Ольги занят важным делом.

В этот раз Ольга Михайловна предложила поехать с ними и Римме. Поначалу Римма стеснялась, но потом согласилась:

– Почему бы и нет.

Приезду Ольги Михайловны обрадовалась встревоженная врач-педиатр.

– У нашей малышки высокая температура...
Нужен ваш совет.

Остальное Римма не расслышала. Медсестра выдала Ольге халат, маску, бахилы, пропустила вперёд, остальным же строго сказала: «Извините, но посторонним находиться у нас строго запрещено. Сами понимаете. Особенно после ковида». И они обе быстро ушли, оставив Адамыча с Риммой за пределами огромной двери с окном двойного остекления.

Адамыч жестом пригласил Римму сесть на больничный стул.

– Ты, Римм, не стой, видишь, ЧП у них, раз Ольгу Михайловну с собой утащили. Это, может быть, надолго.

Римма послушно опустилась рядом. В этом роддоме она лежала «на сохранении» с Амирчиком. Беременность была беспокойной. Римма понимала, что происходит недоброе. Обошлось. Она помнила здесь каждый уголок, каждую панораму из окон.

Они просидели больше часа, пока не вышла Ольга Михайловна. Она сухо ответила на их вопрошающие глаза:

– Отказная малышка. Будем надеяться – окрепнет. Просто горе, а не родители. Я бы взяла её, будь помоложе... Думаю, найдутся добрые люди!

«Как же можно бросить своё дитя?» – взволнованно размышляла Римма. – Может, мне взять малыша? Я ещё не стара. Но не будет ли это предательством по отношению к сыну? Что скажут люди?»

В очередной раз Римма сама напросилась на передачу вещей.

– Как думаете, а та отказная малышка ещё у них?

– Сейчас узнаем, – улыбнулась Ольга Михайловна и подмигнула Адамычу.

– Но нас же туда вряд ли пустят? – робко спросила Римма.

– Я попробую поговорить, – одобряюще кивнула Ольга.

Процедура передачи вещей повторилась. Римма и Адамыч держались в сторонке. Ольга Михайловна обернулась и рукой позвала их к себе.

Доктор внимательно оглядела Римму:

– ОРЗ? ОРВИ?

– Нет, Наталья Николаевна, – ответила Римма, прочитав имя и отчество врача на бейджике.

– Только быстро.

Они накинули халаты, надели маски, бахилы и быстро зашагали вдоль длинного коридора. Пахло лекарствами. Дошли до комнаты с длинным стеклом почти на всю стену.

– Дальше нельзя, простите. Видите, самый ближний бокс к стеклу? Вот она, наша Анастасия. Воскресшая. А ещё говорят, что врачи – безбожники и циники. Смотрите, какое чудо.

В боксе лежало что-то маленькое и розовое, до того крохотное, что просто не верилось, что это человечек. Настя двигала ножками, на которых красовались носочки с сердечками. Римма узнала связанные ею жилетку и малиново-желтого осьминога. Сердце сжималось.

– Ну всё, пора. А то вернётся заведением и мне несдобровать, – поторопила Наталья Николаевна. Она похлопала легонько по спине Риммы, но та зачарованно смотрела сквозь стекло.

Вышли на улицу, попрощались.

Римма искала в сумке платок, да так и осталась – забыла передать связанные дома пинетки. Маленькая новорожденная всколыхнула в ней искру: принять горе потери и обрести радость материнства ещё раз, посвятить жизнь брошенному малышу. Римма стояла на остановке с мокрыми от слез глазами, полнясь неизъяснимым светлым трепетом и неодолимым желанием, как можно скорей взять в свой дом ребёнка.

БОЙ В ОБРАЖНОМ

*Документальная
повесть*

*Светлой памяти
моего отца.*

Столько лет прошло, а война напоминает о себе. Братскими могилами, памятниками, фильмами, календарными датами, где каждый день отмечен войной. Напоминает ранами, болями, бессонными ночами, орденами и медалями фронтовиков. Через много лет, когда в России стали печатать воспоминания не только победителей, но и побеждённых, она снова напомнила о себе.

В книге немецкого офицера Вильгельма Тике «Марш на Кавказ. Битва за нефть 1942–1943 гг.» довольно точно передана обстановка бегства немецких соединений с Кавказа, хотя автор пытался представить её организованным маршем: «...генерал-майор Шмидт отдал



**Николай
БЛОХИН**

Краеведение



приказ об отходе на рубеж реки Калаус. Русская кавалерия наткнулась на отходящие роты. Прошли ожесточённые встречные бои. Снова маршрут отхода превратился в блуждающую главную линию обороны. Начавшаяся метель наконец разделила врагов, но вместе с тем сделала дальнейший марш почти невозможным. Для многих лошадей и машин эта ночь стала последней. Метель с неослабевающей силой продолжалась... На северном фланге отходили на Ворошиловск 3-я танковая и 11-я пехотная дивизии. На открытом северном фланге действовала кавалерийская группа фон Юнгшюльца. Рубеж по реке Калаус удерживали до 18 января. 18 и 19 января отход продолжился. Метель прекратилась. Установились тридцатиградусные морозы. Русские соединения опять шли по пятам. Артиллерийские орудия, оставшиеся без тяги, подрывали. Сломанные автомобили сжигали. Вдоль отступления оставались памятники разгрома».

Когда дневник немецкого офицера опубликовали, моего отца уже не было на свете. Если бы он был жив, мы бы прочитали его вместе. И он бы рассказал, где в нём правда, а где ложь. Того, что он, подросток, помнил о январских днях 43-го, в дневнике, естественно, нет. Дневниковые записи совпадают с отцовскими воспоминаниями о лютых морозах и январской метели, продолжавшейся несколько дней перед освобождением Янкульской степи.

Третий день через хутор Овражный с востока на запад двигались немецкие войска. Сначала прошли штабные машины, затем – санитарные с большими белыми крестами на борту. Следом потянулись ремонтные, интендантские грузовики, набитые всяким барахлом. Техника на гусеничном ходу шла, не разбирая дорог, по бело-снежной пустыне.

Над степью не прекращалась пурга. Занесённые снегом дороги сравняло с землёй. Снегом засыпало каждую травинку, каждый кустик, овраги, перелески. Голый кустарник по самую верхушку утопал в снегу. Кое-где уцелели красные плоды шиповника. Их склёвывали редкие птицы. В глухой, голой степи ещё оставались скирды сена, заготовленные на зимовье конным заводом. Возле скирд иногда появлялись заблудшие коровы, овцы, где их подстерегали оголодавшие волки. Лошадей, когда фронт стал приближаться к Янкулю, угнали на восток, за Терек.

Засыпанные снегом кукурузные початки, пустые осыпавшиеся шляпки подсолнуха пригнуло к самой земле. Пшеницу, ячмень и овёс успели убрать до прихода немцев. Да что толку. Немецкие интенданты выгребли из амбаров все запасы. «Хлеб пошёл на нужды немецкой армии», – объяснил староста.

...В хутор въехали два мотоциклиста, чёрный «мерседес», следом – закрытая тентом машина, вторая, третья... Последняя остановилась

у колодца, остальные проехали к дому, где до войны была контора конного завода. Съёжившиеся от холода солдаты попрыгали из кузова и застучали сапогами. Выглядели они странно: одежды в тонкие серые шинели, головы перевязаны женскими платками, на ногах сапоги, обёрнутые рогожей. У плетня остановился седой старик лет семидесяти, в фуфайке, ватных штанах, валенках и шапке-ушанке. В руках он нёс небольшую охапку курая. Посмотрев на немцев, стучавших сапогами, он по старой солдатской привычке отметил, что прежнего лоска, какой был у них полгода назад, уже нет. «А обмундирование-то летнее, – подумал старик. – Видать, хотели до зимы управиться... Сейчас пойдут по хатам. Будут требовать молока, яиц, хлеба».

Он ещё с минуту постоял возле изгороди, наблюдая, как солдаты набирали воды из колодца. Сруб обледенел от январских морозов. Было скользко. Но молодой немец уверенно стоял на ногах. Изловчившись, он крепко ухватился за ручку ворота и вытащил из колодца полное ведро воды.

«Тыловые крысы бегут, – подумал старик и пошёл в хату. – Видать, что-то случилось там, за Янкулем».

Из водных преград эта река была самым ближним рубежом. Дальше Калаус. Полгода уж, как через хутор с запада на восток прошли первые немецкие части. И что докатились они до

самого Терека, этого старик не знал, как не знал и того, что немцев разгромили под Эльхотово и что их наступление остановлено на берегах Терека. В хутор давно уже не привозили газет, не работало радио. Последнюю сводку Совинформбюро жители Овражного слушали в начале августа сорок второго. Тогда Левитан сообщил, что наши войска оставили Ростов-на-Дону.

Когда немцы заняли Овражный, солдаты-связисты сняли со столба громкоговоритель, а провода обрезали. Затем прошли по хатам и у кого были радиоприёмники – забрали. Хутор жил слухами. Говорили, что немцы уже за Терекком, взяли Орджоникидзе и рвутся к грозненской нефти. Внутренне старик чувствовал: что-то тут не так. «Если не взяли Москву и Ленинград, значит, и под Орджоникидзе у немцев худо», – подумал старик.

– Это сколько ж немчуры проехало через хутор? – спросил он, входя в хату. – И всё едут и едут. Матрёна Матвеевна, посмотри: никто из них пешки не ходит.

Когда у Бабыкина было хорошее настроение, он величал жену по имени-отчеству, а она его Степаном Алексеевичем. Но Матрёна ничего не ответила на ворчанье мужа. Гремела заслонкой у печи. Догорали последние поленья. А поехать в Костенков лес, напилить и привезти дров не на чем. Лошадь одна на весь хутор, да и та у старосты. И неизвестно ещё, разрешит ли староста съездить за дровами.

Однажды поздней осенью Матрёна Матвеевна и Степан Алексеевич сходили в лес. Привезли на санях немного дров. Эти сани он сделал ещё до войны. На них сразу садилось человек по шесть детворы. Зимой ребяташки катались на них с горки в овраг у Соломенного пруда.

Пруд построили ещё до войны. Весной после таяния снегов с Янкульских высот хлынула большая вода, и в первый же год плотину разорвало. Когда вода сошла, плотину поправили. Рабочие конного завода заделали прорыв соломой, голышами, для надёжности утрамбовали плотину ещё и глиной. Оттого пруд и стали называть Соломенным.

Все дни, пока на плотине шли работы, Степана Алексеевича не покидало чувство, что пруд выглядит сиротливо. Поздней осенью он сходил в долину речки Янкуль, где были заросли ивового прутьяка. Разыскал среди них старую иву, нарезал охапку ивовых прутьев. Перевязал бечёвкой и, забросив на спину, к вечеру принёс их на себе домой. Матрёна пошумела, что ему больше всех надо. Мол, директор конезавода мог бы и лошадь, и подводку дать. Ну, что шуметь. Что сделано, то сделано.

Рано утром старик понёс ивовые прутья на пруд и воткнул их поближе к воде по всей длине плотины. Пришла весна, и на лозинах набухли почки. Правда, не все они уцелели. Зима была суровой. Но те, что дали побеги, через два года поднялись

над водой. «Красавицы», – думал Степан Алексеевич, глядя на склонившиеся над прудом ивы.

В Янкульской степи с незапамятных времён всегда трудно было с водой. Не одно поколение людей мечтало обводнить эти плодородные земли. Когда начали строить Невинномысский канал, Степан Алексеевич сразу поверил в то, что и в Янкульскую степь придёт вода Кубани, что и на их улице будет праздник. Он успел поработать на стройке всего лишь два сезона: в сороковом и сорок первом годах. Достроить канал не успели: помешала война. Стройку свернули, оборудование, какое могли, спрятали, архив вывезли, входной портал тоннеля через горный хребет Недреманный засыпали. А строителей, кого призвали на фронт, кто подался в эвакуацию, кто ушёл в камышовые плавни, кто на дальние хутора, подальше от новой власти. Степан Алексеевич вернулся в Овражный с надеждой, что война обойдёт хутор стороной. Не вышло. Летом и осенью сорок второго немецкие войска шли через Овражный на восток, а зимой потянулись на запад. Ходили слухи, что немцев разгромили под Сталинградом.

...Степан Алексеевич вспомнил, как Матрёна взяла в дорогу узелок, сложила в него на двоих по два куса чёрного хлеба, по варёному яйцу, по две холодные картофелины. Посмотрела и, вздохнув, пошла в сени, достала из рундука¹ с двойным дном кусок сала, отрезала от него по два тонких

¹ Рундук (южн.) – большой хозяйственный ящик.

ломтика, завернула в чистую тряпицу. Потайное дно Степан Алексеевич сделал, когда староста с полицаями и немцами стали рыскать по хатам и отбирать всё съестное. Застелив дно старыми газетами, прикрыл их сверху старой одежкой. Для надёжности Матрёна поставила в рундук кухонную утварь. Сколько раз второе дно спасало Степана Алексеевича и Матрёну от голодной смерти.

Завязав узелок с продуктами, Матрёна положила его в плетёную кошёлку. Туда же сунула две алюминиевые кружки, котелок, завязала сверху чистым платком и вышла на крыльцо, где ожидал ее муж.

– А это ещё зачем?

– Кипятку согреем на костре. В лесу, небось, не жарко.

Вышли из дома рано, ещё не рассвело. Шли налегке: в сани кошёлка, топор, пила да верёвка. С утра подморозило. Сани легко катились по замёрзшей земле. Старик присматривал, где повыше пригорок, чтобы обратной дорогой сани сами катились бы с горки. Идти далеко. Лес, черневший вдалеке, только казался близким. «Туда километров пять, да обратно столько же», – прикинул старик. В пути два раза останавливались передохнуть.

Лес встретил их молчанием. С деревьев слетели последние листья. Вся земля в лесу превратилась в сплошной ковёр из листьев – жёлтых, багряных, зелёных, коричневых. Несмотря на ранний заморозок, листья, припорошенные инеем, хрустели

под ногами. Зима ещё не успела присыпать их снегом. Было прохладно и тихо, как будто и не было немцев, старосты, стоял мир. Ощущался терпкий запах осени, особенный и бодрящий. Вокруг поляны теснились ясени, молодые дубки, цепкий карагач. Поднимались к небу величавые сосны. Лучи осеннего солнца играли в верхушках деревьев.

Ах, лес, какой лес в Янкульской степи! Степан Алексеевич с благодарностью в душе поминал лесовода, заложившего лесной участок на этих высотах. Никто не знал ни имени, ни фамилии человека, доказавшего, что в этих краях можно выращивать лесные деревья. Осталось от него лишь одно зримое воспоминание – Костенков лес. Название пошло то ли от имени, то ли от фамилии. Впрочем, это не важно. Поднялся в степи русский лес.

Старик свалил берёзку, ловко отсек топором ветки. Матрёна собрала их и, связав охапкой, уложила на сани. Затем Степан Алексеевич нарубил сухостоя и сложил из него костёр. Матрёна нарвала сухой травы, скрутила из неё жгут. Старик поднёс зажжённую спичку. Трава загорелась сразу. Матрёна подложила горящий жгут под кучу хвороста. Огонь побежал, охватывая сначала тонкие веточки, постепенно вырастая в костёр.

Старик тем временем распилил берёзу на чурбаки и поколот их. Супруга собрала щепу и поленья, уложила на сани. Пока костер обретал силу, решили вдвоем сходить за водой. Когда-то вот так много лет назад Степан первый раз привёл Матрёну к этому роднику. Здесь они тай-

но от родителей встречались, здесь первый раз поцеловались. Степан Алексеевич вспоминал события давних лет, и ему казалось, что это было вчера, а не в какой-то далёкой юности. Как же быстро пролетели молодые годы, а эти последние месяцы, когда враг занял хутор, казались такими невероятно длинными. Иногда ему казалось, что война, враг, топчущий его землю, – это сон. И всё вокруг происходит не с ним, а с кем-то другим. Жизнь в хуторе остановилась и напоминала реку, скованную льдом. Неужели вот так, в один миг, исчезло то, чем была наполнена вся его жизнь?! Лошади, табуны, конный завод, костры в ночном, сенокосы, призы на скачках, «солнце», которое он крутил на перекладине на зависть хуторским парням. Эх, вернуть хотя бы одну минуту торжества победы, когда он обошёл соперников в силе и ловкости ради восхищённого единственного взгляда Матрёны!

На дне оврага из расщелины в скале всё так же бежала хрустальная вода. Матрёна протянула мужу алюминиевые кружки. Он подставил одну под тугую струю, отпил несколько глотков холодной воды.

– Помнишь, – спросил старик, передавая Матрёне полные воды кружки, – как мы с Алёшей до войны приходили к этому роднику?

– Всё помню... Где теперь сынок-то наш Алёшенька?

– Известно где. Воюет...

Последнее письмо от сына пришло в ноябре сорок первого. Алексей писал, что видел тётку

Матрёну и дядьку Степана из Синяевки, что за Чалтырем. Привет, дескать, просили передать. Писал, что ходил с товарищами за железнодорожную станцию, принесли большую связку вяленой чехони, за что, дескать, ему благодарность была от командира.

Матрёна тогда ничего не поняла. Таких родственников в Синяевке у них отродясь не было. Степан Алексеевич повертел треугольник с обеих сторон. Увидев штамп «Проверено военной цензурой», засмеялся.

– Разведчик... Объегорил всех, и военную цензуру.

И рассказал Матрёне, как сам понял письмо сына.

– Тётка Матрёна – это ты, а дядька Степан – это я. Сын наш ходил в разведку, принёс с товарищами, такими же, как и он, разведчиками, очень важные сведения о противнике, за что ему командованием объявлена благодарность. И самое главное: наш сын Алёша сейчас находится в Синяевке. Это где-то под Чалтырем, за Ростовом, стало быть.

– Больно мудрёно-то.

– А иначе военная цензура всё бы вымарала. Эх, военной карты нет, – вздохнул Степан Алексеевич. – Поглядеть бы, где это.

С прошлой осени писем от сына больше не приходило.

Не знали Матрёна Матвеевна и Степан Алексеевич, что их сын, старший сержант Бабыкин, из опасной разведки действительно принёс важные

сведения о готовящемся наступлении противника. Бои были тяжёлыми. Синяевка оказалась важным рубежом, за которым были Чалтырь, Ростов, Дон и вся страна. Солдаты, в конце ноября 1941 года перешедшие в наступление под Ростовом, среди которых был и сын Степана Алексеевича и Матрёны, вынудили немецкое командование снять с московского направления несколько пехотных и танковых дивизий и перебросить их на Дон. В те дни судьба Москвы решалась и под Ростовом.

Вот уж шестой месяц пошёл, как Овражный под немцами. Тогда, 22 июня 1941 года, за тысячи километров от государственной границы, в Овражном, никто и подумать не мог, что враг ворвётся и в их дома, что он будет рвать изо рта последний кусок хлеба, что люди станут есть толчёные листья лебеды, варить суп из кореньев. А ведь ещё недавно в каждом доме пахло печёным хлебом, жареной картошкой, человеческим счастьем. До войны в сёлах и хуторах Янкульской степи кипела жизнь. На её просторах люди пасли стада овец, водили гурты скота, выращивали красавцев скакунов, стать которых показывали на ипподроме в Пятигорске. А теперь по этой степи прошёл враг. И когда наступит конец германскому «новому порядку», никто не знал. Весь хутор обклеили приказами, за невыполнение которых населению грозила смерть.

...Старик, набрав воды в котелок, передал его Матрёне. Выбрав плоский камень, пошёл следом. Когда выбрались наверх, старик посмотрел вниз,

на дно оврага. «Глубоко, – подумал он. – Упадёшь, покатишься вниз и костей не соберёшь».

Ветки прогорели, костёр набрал жар. Старик вырубил из веток две рогатины, вбил их топором с двух сторон костра. На жердину повесил котелок с водой. Ножом нарезал пучок вишневых веточек, мелко изрубил. Вода наконец закипела, Матрёна опустила веточки в кипяток. Бросила несколько листочков смородины, которые нарвала там же в зарослях.

– Пусть немного покипят.

Вода в котелке потемнела и стала походить на чай, Степан Алексеевич снял и поставил котелок на камень, который принёс из оврага. Наскоро перекусили.

Такие минуты для Матрёны были минутами маленького счастья. Она любовалась Степаном и забывала прошлые невзгоды, тяжёлую работу батрачки и своё горькое детство. В двадцать первом голод и тиф выкосили полхутора. Но мать с отцом, умершие в том печальном году, будто были с нею рядом. Чем больше время отдаляло Матрёну от тех роковых лет, тем ближе становились ей родители. Отступали мелкие обиды. В памяти Матрёны родители оставались молодыми. Она вспоминала, как с матерью встречали возвращавшееся с пастбища стадо, как училась доить корову. Потом цедила молоко через марлю, пропускала его через сепаратор: сливки в одну посуду, молоко – в другую. Сепаратор был один на несколько дворов. Прибегала дочь соседки: «Скоро отдашь?» Мотя помогала матери месить тесто,

печь пышки, чистить и варить картошку. Отец возвращался всегда поздно, особенно в страдную пору. Товарищество по обработке земли, в которое он передал свой участок земли, выбрало его своим бригадиром. Матрёна не очень понимала значение этого слова, но считала, что оно хорошее, не ругательное...

Выйдя из леса, Степан Алексеевич и Матрёна не пошли просёлочной дорогой, а потянули сани с дровами по склону балки, затянутой туманной пеленой. Сани катились легко, под горку, по ковылю, прихваченному инеем. Благополучно добрались к своему подворью. Оно было третьим от краю. Закрыв ворота, старик осмотрелся: никого.

Когда в августе немцы заняли хутор, утро у Матрёны и Степана Алексеевича каждый день начинался одинаково: они собирали верблюжье сено возле сараев, около заборов, у конюшни, на кукурузном поле. Буран катил по степи курай, кермек, скатывая их в шары, большие и малые. Всё годилось для топки – и кукурузные будылья с небольшого огорода, и подсолнечные шляпки. Так за осень, пока ещё стояли тёплые дни и не выпал снег, они набили сухим бурьяном целый сарай. Дрова берегли на случай январских морозов. Но они наступили раньше, чем ожидали. В декабре льдом сковало Янкуль, мелкие речки и ручьи, замёрзла вода в Соломенном пруду. Снегу намело во дворах вровень с крышей. Утром старик брал лопату, выходил во двор и чистил

от снега крыльцо возле дома, дорожки к сараю, погребу, летней кухне.

3

...В хате было тепло. Пахнет варёной картошкой.

– Садись, – пригласила Матрёна.

– Я в германскую вот так, как сейчас, с немцем лицом к лицу, – вспомнил Степан Алексеевич, садясь за стол. – Не думал, что вновь доведётся свидеться с инородцем.

Матрёна поставила на стол чугунок с горячей картошкой, миску с квашеной капустой. Достала из фанерного шкафа солонку.

– Сколько соли осталось?

– Есть ещё немного. До весны, думаю, дотянем, – сказала Матрёна.

– Весна придёт, кто-нибудь из хуторских поедет на Маныч, на солёные озёра, привезёт и нам соли.

Степан Алексеевич взял картофелину, очистил от кожуры, посолил, но послышался шум в сенях. В горницу вбежал хуторской сорванец Федя, в залатанной фуфайке, в шапке, одно ухо которой было опущено, а другое поднято кверху. Некоторое время после призыва отца на фронт мальчишка прятался возле леса один, его приласкали Степан Алексеевич и Матрёна. Испуганный и бледный, Федя успел лишь сказать, что староста с полицией идут по хатам, гонят народ к правлению конезавода.

– Что делать, Стёпа?

– Деда, прятаться надо.

– Да куда тут спрячешься? – Степан Алексеевич посмотрел в окно. – Они уже во дворе.

Дверь с шумом распахнулась, и в хату ввалились староста и двое полицаев. Старостой немцы назначили бывшего бригадира конного завода Скубырю. А в полицаи он взял себе двух дружков, с которыми пьянствовал ещё до войны. Задача у старосты была одна – следить за тем, чтобы население сдавало в фонд немецкой армии молоко, мясо, яйца, картошку, шерсть, тёплые вещи и... самогон.

– О, да тут пир горой. Знать, запасы припрятал, Степан Алексеевич, а говорил, что для немецкой армии ничего нет... О, и дровишки берёзовые... Видишь, как я с тобой уважительно разговариваю. А ты забыл, что теперь всё здесь в округе принадлежит великой Германии? – Староста взял со стола очищенную стариком картофелину, обмакнул её в капустный сок и отправил себе в рот. – Одевайся, немецкий комендант господин Ригель приказал всем жителям собраться у правления.

– Может быть, угоститесь, – предложила Матрёна.

– Некогда рассиживаться! Нам ещё в две хаты заглянуть надо.

Полицаи прикладами винтовок стали выталкивать Степана Алексеевича, Матрёну и Федю из хаты.

– А мальчишку-то зачем? – старик попытался было защитить Федю.

– Не разговаривать. Он тебе кто? Ни отца, ни матери. Беспризорник. Приказано всех собрать – значит, всех.

Немецкие служаки согнали жителей хутора вместе с детьми, малыми и большими, к зданию правления конного завода. Закутанные кто во что женщины, мужчины, старики и старухи, дети стояли на улице перед правлением и жались от холода. Старик едва успел снять с гвоздя фуфайки для себя и для Матрёны. Матрёна прихватила ещё и платок, а Степана Алексеевича как был, без шапки, полицаи вытолкали из хаты на мороз. Федя прижался к нему. В его глазах старик прочитал немой вопрос: а что сейчас будет? Его отец тоже на фронте. Правда, перед войной он ушел из семьи. Когда делили детей, Федя остался с отцом, а младшего брата Мишу мама увезла с собою. Теперь она живёт в соседнем селе и ни разу не поинтересовалась его судьбой. С тех пор, как отца призвали на войну, Федька остался у мачехи без присмотра. Своих внуков у Матрёны со Степаном не было. Сын не успел жениться. Его ещё в тридцать девятом призвали на финскую. И теперь Федя заменял им и сына, и не родившихся внуков.

Когда утром мальчик шёл в школу, Матрёна поджидала его у калитки. И как только он показывался из-за угла, спешила ему навстречу. Бра-ла его за руку и заводила в хату.

– Баба Мотя, я в школу опоздаю.

– Успеешь. Садись за стол.

– Я ел.

– Нет, ты всё-таки поешь. Смотри, какие я оладьи испекла.

И она ставила на стол тарелку с оладьями, стакан кислого молока. Ел Федя молча. Матрёна знала, что у мальчишки со вчерашнего дня во рту крошки не было. Лукерья, мачеха Феде, кормила своих детей, а пасынку – что останется. В лучшем случае одна картофелина в мундире.

– Молодец, порадовал бабушку.

– Спасибо. Я побегу.

– Беги, беги, догоняй ребят.

С учительницей Матрёна договорилась, чтобы та Феде в школе давала хотя бы стакан морковного чая. Вот так и жили. А когда пришли немцы, школу закрыли.

– Немецкой армии нужны солдаты и работники, а не дармоеды, – объяснял староста. – Все мальчишки и девочки старше четырнадцати лет поедут в великую Германию работать на шоколадную фабрику.

...Комендант Ригель вышел на крыльцо правления конного завода. Сделал знак рукой, и немецкие солдаты и полицаи стали оттаскивать детей от взрослых. Женщины заголосили, дети закричали. Федя ухватился за рукав деда Степана, но полицай, оттолкнув старика, вырвал подростка и отбросил к машине. Немецкие солдаты заталкивали детей в кузов грузовика.

– С комфортом поедут, – староста снял шапку и заискивающе смотрел на Ригеля. Обращаясь к хуторянам, приговаривал:

– Напрасно, бабоньки, рыдаете? Что они тут хорошего видали от Советов? Быкам хвосты крутили, а в Германии ваши дети будут работать на шоколадной фабрике.

– Чего ж сам не едешь туда?

– Прихвостень, чтоб тебе очи повылазили. Будь ты проклят!

– Ну, ну, попридержите язык!

Ригель снова сделал знак рукой. Немецкие солдаты стали стрелять в воздух. Народ стал разбегаться с площади. Побежала и Матрёна. Степан Алексеевич остался на площади один. Ригель сошёл с крыльца и, подойдя к старику, спросил:

– А ты почему не бежал, почему остался?

Степан Алексеевич, не отводя взгляда, посмотрел Ригелю в лицо:

– Господин офицер, в машине мой внук. Разрешите проститься с ним.

– Какой к чёрту внук! – завизжал староста. – Не внук он ему. Беспризорник. Господин капитан, у него сын на фронте, воюет в Красной Армии. А отец этого мальчишки тоже на фронте.

– О, как интересно. Семья красноармейца. – Ригель подошел вплотную к старику. – И где воюет твой сын?

– Не могу знать. От него нету писем полгода.

Комендант указал рукой. Немецкие солдаты бросились к машине, стащили с кузова Федю,

поволокли по снегу и поставили рядом со Степаном Алексеевичем. Отбежав от старика, направили на него и Федю автоматы.

– Расстрелять! – приказал Ригель и пошёл к машине.

– Господин офицер! Пусть мой внук едет в Германию работать.

Комендант остановился, подумал и, повернувшись, сделал знак солдатам, и они опустили автоматы.

– Хорошо, старик, твой внук айда в Германия, а ты будешь здесь. Ты, старик, Германия не нужен.

– Деда, не отдавай меня, не хочу в Германию...

Степан Алексеевич успел шепнуть Феде:

– При удобном случае по дороге сбежишь.

Немцы затолкали Федю в кузов. Ригель сел в легковую машину. Раздалась автоматная очередь. Последнее, что видел Степан Алексеевич, это искажённое страхом лицо Феде. Старик упал, обогрив снег кровью.

– Деда-а! – закричал Федя и рванулся из машины. И почувствовал удар автоматом в голову.

Сколько времени пролежал без сознания, Федя не помнил. Очнулся, когда машина поднималась из Янкульской впадины в гору. Дорога пошла в долину речки Горькой. Сейчас будут Бешпагирские высоты. А за ними и село. Нет, до него ещё километров пять. Федя плохо сообщал: страшно болела голова. Повёл глазами: овраженские мальчишки и девчонки притихли.

«Сейчас бежать не удастся, – подумал Федя. – Пристрелят». А в городе побег вряд ли удастся. Затолкают на железнодорожной станции в вагон – и прощай Янкуль! Значит, надо попытаться сделать это в селе. Федя ещё не знал, как он это устроит. В селе можно скрыться во дворах, а там по-за сараями, стогами сена, каменными заборами рвануть в сосновый бор. Уже темно. Ночью немцы в бор не сунутся. Главное – вырваться. Заныло в животе: с утра ничего не ел. Вспомнил, как этот гад, староста, макнул дедову картошку в капустный сок, сожрал и не подавился. Федя прикинулся спящим.

4

Ему припомнилось, как перед войной ездил с отцом в город. Директор конезавода Выскорка, провожая, говорил отцу:

– Тут в портфеле, Пётр Антонович, все документы. Сразу как въедешь в город со стороны Старомарьевки, по правой стороне будет мясокомбинат. Там над проходной вот такой громадный бык стоит.

– Живой? – спросил Федя.

– Да ну, муляж, – усмехнулся директор. – Заодно покажи сыну город, парк и лебедей.

Ехали на подводе по большаку. Кругом степь. Не сегодня-завтра сенокос начнётся. Не доезжая до Бешпагира, отец повернул лошадей к горе Жирной, на просёлочную дорогу.

– Так короче, – объяснил отец сыну.

У Феде не выходил из головы громадный бык, которого директор назвал странным словом.

- А что такое муляж?
- Муляж? Большая деревянная кукла.
- Как деревянный конь древних греков?
- Наподобие этого.

У речки Бешпагирки сделали остановку, наполнили лошадей. Отец расстелил на траве фуфайку, сверху положил полотенце. Федя резал хлеб, сало. Отец достал из сумки свежие огурцы, варёную картошку, зелёный лук. Нехитрая снедь, а без неё в дороге не обойтись.

В городе отец, оставив его на подводе у ворот, над которыми возвышался громадный бык, ушёл через проходную и долго не возвращался. Федька смотрел на громадного быка и думал про греческого коня, которого предложил сделать хитроумный Одиссей, как в нём спрятались греческие солдаты. И как троянцы втащили себе на погребель того коня в город.

Отец вышел из ворот мясокомбината, когда солнце перевалило за полдень. Пора бы и пообедать.

– Домой? – спросил Федя, жалея, что не увидел города.

– Нет, придётся задержаться. Завтра утром получим документы для конезавода.

Отец направил лошадей к городу. Слева показалась мельница, затем переехали железнодорожный путь. У Ярмарочной площади свернули направо.

– Там завод, – показал кнутовищем отец в сторону забора. – Называется «Красный металлист». На нем делают разные станки. Вырастешь, может быть, станешь рабочим. Главное запомни: учись хорошо.

Подъехав к коновязи, отец слез с подводы, распряг лошадей и пошёл в вокзал узнать, есть ли свободные номера в комнатах для приезжих. Федя присел на край подводы и, болтая ногами, разглядывал привокзальную замусоренную площадь, ласточек, слепивших гнёзда под карнизом вокзала. Люди с сумками и чемоданами сидели на скамейках, переговаривались, лузгали семечки. Внимание Феде привлёк пассажир в очках. Рядом с ним на скамье сидела тётка в цветной кофте и плисовой юбке. На коленях очкарика лежал потёртый тощий портфель. У ног тётки громоздилась плетёная корзина, обшитая дешёвым ситцем. Поблизости стояли две продавщицы с лотками на ремнях, перекинутыми через плечо. В белых передниках и накрахмаленных кокошниках они громко зазывали покупателей. Одна кричала:

– Пирожки, горячие пирожки... с мясом, с ливером, с горохом, с повидлой...

Другая надрывалась:

– Мороженое, мороженое... Сахарное мороженое...

Объявили о посадке на поезд, следующий из Ставрополя на станцию Кавказскую. Вся привокзальная площадь пришла в движение. Мимо заспешили люди. Тётка тоже встала со скамейки,

подхватив корзину. Сделав несколько шагов, она споткнулась о бордюр, упала на асфальт и уронила ношу. Обшивка на корзине лопнула, и из нее выпали и раскатились по привокзальной площади красные яблоки.

Очкарик бросился собирать их и едва не попал под лошадь, запряжённую в линейку, на которой сидел кучер, а за его спиной толстяк с портфелем на двух замках. Кучер натянул вожжи.

– Чего встал? – проворчал толстяк. – Подъезжай ближе к турникету.

– Да, тут... – промычал кучер.

Увидев, как очкарик с тёткой собирают яблоки, седок с портфелем вырвал из рук кучера вожжи и хлопнул ими по крупу лошади. Под колёсами затрещали яблоки.

– Ах, ты ж, гад! – очкарик рванулся и ткнул рукой лошадь в морду. Она мотнула головой и попятилась. У турникета образовалась давка. Дядька с портфелем спрыгнул с линейки, бросился к турникету и закричал:

– Пропустите, пропустите... У меня командировка!

Тётка, собрав последние яблоки, подхватила корзину и поплелась на перрон. Федя увидел, что одно яблоко закатилось под их телегу и, подняв его, протянул лошади:

– На, поешь.

Он грустно смотрел на опустевшую привокзальную площадь. Все пассажиры расселись по вагонам. Перрон вскоре совсем опустел. Но ещё

горел красный семафор. Машинист ждал сигнала отправления. Феде вдруг стало жаль тётку, очкарика и лошадь...

Сон сморил незаметно.

5

...Федю разбудил толчок в бок. Открыв глаза, он увидел рядом Женьку Саушкина. До войны они вместе ходили в школу. Его отца, как и Федина, призвали на фронт. Женька остался с матерью и сестрёнкой, за старшего.

– Ты как попал сюда? – шёпотом спросил Женька. – Тебя вроде бы в хуторе не было. Ты же на кошаре возле Костенкова леса скрывался.

– Пришёл к мачехе попросить хлеба и попал в облаву.

– Ну, и что, дала хлеба?

– Да не дошёл я до неё. Увидел старосту с полицаями и к деду Степану убежал. Как думаешь, дед умер или только ранен?

Женька пожал плечами.

– А куда нас везут? – спросил Федя.

– Куда, куда? В Германию, на шоколадную фабрику.

– Да слушай ты больше старосту. Врёт он всё. Тут рядом, в Спицевке, наши аэродром строили.

– Думаешь, заставят расчищать его от снега? В Бешпагире у немцев донорский пункт... Эх ты, сидишь там возле леса, как бирюк. И ничего не знаешь. Немцы свозят туда детей со всей округи. Кровь у них забирают и переливают своим солдатам.

- Вот звери.
- Бежать надо, Федя.
- Да как тут сбежишь? Ты же видишь. Кругом одни немцы с автоматами.

На въезде в село машины остановились. Фашисты стали выталкивать детвору из кузова. Построили в колонну и погнали пешком по дороге, ведущей вправо от села, к соснам, что виднелись на пригорке. Между селом и сосновым бором местность была открытая. Всё видно как на ладони.

От Бешпагира к сосновому бору шли две дороги: правая вела на открытый пригорок, левая к оврагу, где до войны местные жители брали песок. Колонна миновала середину дороги. Шли молча. Девчонки перестали всхлипывать. Мороз щипал за щёки и руки. Когда дошли до оврага, немцы повернули колонну вправо, на пригорок.

- Поведут не через село, – шепнул Женька.
- Почему?
- Донорский пункт, скорее всего, в коммуне. Там, говорят, охрана.

Федя на миг представил, как немцы заводят его в медпункт, где от медицинских запахов у него в голове всегда стоял туман. Укладывают на кушетку, обитую дерматином. Немецкий доктор в очках и белом халате вводит ему иглку в вену, подключает к аппарату и забирает у него кровь. Но кровь забирает не всю. Часть её немецкий доктор оставляет, чтобы брать у Феди кровь снова и снова. А потом Федину кровь стали переливать раненому немцу, чтобы он снова убивал наших солдат. А лицо у немца больно похоже на

лицо старосты. Смотрит на Федю и улыбается: «Не бойся, Федя, сейчас тебе шоколаду дадут. Так полагается после сдачи крови». Федя встряхнул головой. Фу, привидится же такое.

...Не доходя до соснового бора, немцы остановили колонну и посадили детвору на снег. Вот, гады, прямо на холодный снег. Не обращая внимания на окрики немцев, Федя пристроился на корточках. Женьку, который тоже присел на корточки, немец толкнул в грудь автоматом и приказал лежать на снегу. Худощавый немец, стоявший перед сидящими на снегу овраженными ребятами, подойдя к Феде, приподнял его дулом автоматом:

– Ауфштеен!

Федя поднялся, шагнул вперёд и мысленно попрощался с ребятами, оставшимися на пригорке. Отцепив от пояса котелок, немец сунул его в руки Феде.

- Во ист тринквассер?
- Женька, чё немец говорит?

У Женьки мать преподавала в школе немецкий. И потому он в классе лучше других соображал в немецком языке.

– Он спрашивает, где здесь вода? – Женька приподнялся и присел на корточки.

Немец закивал.

– Вода? Вон там, под горой, в роднике. – Федя показал вниз, в сторону оврага.

Фриц недоверчиво повертел головой.

– Это рядом. Пять минут ходьбы, – Женька показал пять пальцев. – Фюнф минутен.

Тем временем солдаты, охранявшие детвору, собрали котелки. Немец часть из них отдал Феде и скомандовал:

– Шнель.

Вдвоем они быстро зашагали под гору. «Надо вывести его к Сафонову роднику, – размышлял Федя. – Это место самое верное». Родник находится на дне оврага. Рядом небольшой песчаный карьер и нависающая над ним из жёлтого известняка плита. Местность горно-холмистая. Там буераки, множество мелких оврагов. Правда, они песчаные. Но зимой их засыпало снегом, подмёрзло, и песок схватился. Если бежать, то не по взгорку, а по косогору. Если немец начнёт стрелять, то пули просвистят поверху. Место это заросло серебристым лохом, акацией, алычой, дикими яблонями и грушами. Ближе к западному склону поднялись вербы. Выше, по северо-восточному склону, заросли шелюги. Её сажали до войны, чтобы остановить наступление песков на село. С годами заросли стали непролазными. А за ними поднялись крымские сосны. Сейчас быстро темнеет. Значит, в лесу ещё темнее.

Федя и немецкий солдат ступали мимо плетнёвого забора. Федя впереди. Солдат с автоматом на шее за ним. Раздвинув заросли, Федя увидел тропинку, которая вела на дно неглубокого оврага, к роднику. Вот он, живой, бьёт из-под скалы. Ему не страшны ни вьюги, ни морозы.

Мальчик спустился в овраг и принялся полоскать котелки. Немец постоял рядом, понаблюдал, с каким усердием мальчишка начищает

песком котелки. Федя впервые рассмотрел его так близко. Какой-то белобрысый, росту небольшого и курносый. Почти не похож на немца. Охранник сунул Феде свою фляжку, чтобы набрал воды. Федя подставил её под хрустальную струю. Вода была холодной, обжигала руки. Немец хлебнул из фляги воды, и, сказав: «Гут», поднялся на пригорок оврага, с которого как на ладони было видно село, лежащее по склону Бешпагирских высот. Ещё минуты три он смотрел сверху вниз, как Федя набирал из родника воду в котелки и ставил их на снег. Федя делал вид, что не придаёт никакого значения, как немец наблюдает за ним. Нет, не сейчас. Оттуда, сверху просматривается весь овраг. Пристрелит, даже не добежишь до песчаного карьера. Но когда немец закурил, и, посмотрев ещё раз на пленного мальчишку, обернулся в сторону села, Федя понял, что настал его час. Всё! Сейчас или никогда! Он бесшумно поднялся от родника и изо всех сил рванул по той же тропинке, по которой он несколько минут назад привёл фашиста к роднику. Сверху, где немцы охраняют детей, этой тропинки не видно. Если фашист обернётся и заметит, что его нет на месте, он будет искать его взглядом в овраге, который тянется на восток.

Федька не знал, откуда у него взялись силы. Он бежал мимо плетнёвого забора. От фашиста его отделял заросший деревьями и кустарниками овраг, по которому струилась вода из Сафонового родника. Она заглушала его скрипучие на снегу шаги. В вечернем сером просвете между деревья-

ми, если бы даже и захотелось, немец тоже вряд ли бы увидел бежавшего мальчишку. Лабиринт тропинок, который протоптали в садах и на огородах люди, отвыкшие при немцах ходить по улицам, вывел Федю к зарослям шелюги, бузины, заброшенных вишняков. Он рад был, что никого не встретил – все по домам попрятались. Надо взять левее. Там сосны и снегу меньше. Бежать стало легче. Мороз сковал снег как настил. Федя бежал, не останавливаясь, на северо-восток. Если немцы станут искать, то, скорее всего, пустят погоню по той же дороге, по которой пригнали ребят из Овражного. Лужайка возле сосен, на которую фашисты усадили детвору на снег, осталась справа.

Стрелял фашист или не стрелял, Федя не слышал.

Он забирал левее, подальше от того места, где оставил белобрысого немца. Всего безопаснее было выбираться из села подальше, на северо-восток, потом к солённому озеру, где на всём пути Федю прикрывали сосны, кусты шелюги. Только они и могли спасти. Дальше – колхозные виноградники. А там, за солёным озером, начнутся овраги, вытянувшиеся в сторону Овражного. Федя так и думал идти дальше, но в самый последний момент вдруг решил, что надо выбираться на дорогу. «А то ещё в озере увязну», – подумал он. А по дороге сейчас, в такую темень, вряд ли пойдут немецкие машины. Стемнело быстро. Прислушиваясь, Федя обошёл озеро с правой стороны. Он уже не испытывал чувства

страха. Это было чувство свободы. Теперь он находился почти в двух километрах от дороги. С левой стороны мелькнул огонёк. «Кошара, – догадался Федя. – Лишь бы собаки не залаяли». Но они молчали. Видимо, забрались от мороза в соломенные стога. Поднявшись на пригорок, Федя посмотрел на дорогу в Бешпагир, потом перевёл взгляд на дорогу, ведущую в сторону Овражного. На зимней дороге, освещаемой снегом, было пустынно.

«Эх, что теперь с Женькой, и где остальные ребята», – вздохнул Федя и вышел на дорогу. Засунув руки в карманы фуфайки, он бежал, подгоняемый морозом, в сторону речки Горькой. Километра через три впереди мелькнул огонёк. Чей это был огонёк, он понял не сразу. До Овражного ещё далеко. Подумав, Федя свернул с накатанной дороги влево. Подальше от беды. Ноги вели Федю не туда, куда надо. Он забирал всё дальше и дальше от дороги. И, когда вышел к пруду, построенному ещё до войны в долине речки Горькой, огонёк снова мелькнул, но теперь почти справа от него. «Это хутор Пятилетка, – успокоился Федя. – А ниже пруда должна быть совхозная огородня». Для неё из пруда брали воду для полива овощных плантаций. До Овражного оставалось километров шесть.

Идти через весь хутор к бабе Матрёне он не решился. Там упал подкошенный автоматной очередью дед Степан. И что сейчас с ним, Федя не знал. Знал лишь, что в доме, где его принимали как родного, сейчас горе.

Обходя притаившийся хутор, он вышел к его крайней улице и осторожно двинулся по задворкам, поглядывая по сторонам, – не хотелось бы напороться в такую пору на часового.

Ночь была самым надёжным Фединым союзником. Она скрывала его от любопытных глаз. Подойдя к крайней хате, он прислонился к стенке. Только сейчас почувствовал, как после долгой ходьбы гудели ноги. Решил, что присядет у плетня и немного отдохнёт. Но ощутил, как наваливается дремота. Нет, нельзя. Повернув голову в сторону окна, он узнал свою хату, в которой жил с отцом. Впустит ли мачеха? Когда отец уходил на фронт, она клялась ему, что будет заботиться о Фёдке...

6

Беглец осторожно постучал в окно. Заметил, как колыхнулась занавеска на окне. Услышал скрип открывающейся двери.

– Кто там?

– Это я, Фёдя. Немцы есть в хате?

– Я одна с девчонками.

Прошмыгнув в двери, он остановился в сенях.

– Ты откуда? В хуторе была облава.

– Я пришёл с лесной сторожки и попал в неё.

– Ты сбежал?

– Да, по дороге в Бешпагир.

– А если немцы пошлют погоню? Тебе нельзя у нас оставаться.

– Куда же я пойду?

– На дальних кошарах схоронись. В степи.

И мачеха подтолкнула Фёдю к выходу, на мороз. Он слышал, как лязгнул за ним засов. Даже куска хлеба не предложила!

Фёдя замер у плетня. В хутор, к бабушке Матрёне нельзя. Там кругом в хатах немцы. Не оглядываясь и проклиная мачеху, он вышел за околицу. Двинулся в сторону Костенкового леса. Обходя проезжую дорогу стороной, направился к скирдам сена, стоявшим на пригорке. Подойдя поближе, Фёдя не увидел следов от саней. Их занесло снегом. Можно было бы, проделав нору, забраться в стог сена и перебыть в нём до утра. А если утром староста приедет с полицией за сеном и увидит свежие следы? Нет, такой ночлег ненадёжен.

Фёдя обошёл стороной скирды. Идти на кошару, где его отец работал до войны, тоже нельзя. Надо брать курс на дальнюю кошару, что стоит вдаль от леса и просёлочных дорог. В такую погоду немцы туда не сунутся. Фёдя поправил шапку, завязал покрепче ушные клапана, руки засунул поглубже под фуфайку. Идти так неудобно, но зато руки немного согреются.

Он помнил, что в верховьях Янкуля, у истока речки, пересыхающей летом, есть небольшой пруд и заброшенная кошара. Путь, конечно, неблизкий. Но зато с полгода, как овец угнали на восток, никто из местных жителей не появлялся там.

Однажды по осени немцы на мотоцикле заглянули на ту кошару. Не найдя ничего, кроме небольшого скирда кизяков, один немец спросил другого: «Вас ист дас?» «Руссишен брикет», –

сказал другой и рассмеялся. И стал рассказывать, что русские этим брикетом топят зимой печи. С тех пор немцы не заглядывали на кошару.

...На перевале погода испортилась окончательно. Ветер мелкими льдинками сёк лицо. Поднявшись на грядку, разделявшую долины небольших речек Горькой и Янкуля, Федя повернул снова на восток, к кошаре у Костенкового леса. «Там Михалыч зимует, – подумал он. – У него точно отогреюсь». Теперь ветер дул ему в спину. Вдали в ночном сумраке чернел лес. До кошары оставалось километра три. Только бы волков не встретить.

Федя едва тащился по степи, продуваемой ветром. От просёлочной дороги, занесённой снегом, не осталось и следа. Только чернел лес.

Чем ближе он подходил к лесу, тем всё больше узнавал знакомые с довоенных лет места. Справа от просёлочной дороги тянулся глубокий овраг, а слева – силосные ямы. С тех пор, как из них вынули последний силос, они наполнились водой. Федя стал заворачивать подалее от оврага. Если угодишь в него, то уж не выберешься. И от силосных ям надо держаться подалее. Вспомнил, как однажды зимой по дороге в школу он провалился в старый колодец. Федя кричал, звал на помощь. Но на улице кружила такая пурга, что его никто не слышал. Сколько просидел в колодце, который, к счастью, оказался без воды, он точно не знал. Было холодно. Мальчишка ходил кругами по дну и утапывал снег в надежде, что его нападает сверху столько, что он выберется по сутробу наружу.

Спасли его баба Мотя и дед Степан. Матрёна несколько раз выглядывала в окно, но, так и не увидев Федю, идущего в школу, стала тормошить Степана Алексеевича: пойдём искать. Старик отнекивался, мол, какая школа в такую непогоду. Наверное, он дома остался, у мачехи. Матрёна стала одеваться. Видя такое дело, Степан Алексеевич слез с печи, сунул ноги в валенки, накинул полушубок, снял с гвоздя шапку. Вот чёртова баба!

Выйдя за калитку, Матрёна первой увидела на снегу едва заметные следы, которые вели к школе. Кто-то прошёл и, видимо, давно. «Фу, ты, господи!» – подумал Степан Алексеевич. Там, впереди, по улице, старый колодец, без сруба. Его все хуторяне обходили стороной. Сколько раз говорили директору конезавода, что заделать его надо. Иначе кто-нибудь провалится в него. Степан Алексеевич бежал по следу. Матрёна еле попевала за ним. Следы оборвались у колодца. Неужто, и в правду, кто-то свалился в этот чёртов колодец?

Степан Алексеевич наклонился. Темно. Ничего не видно.

– Эй, тут кто-то есть?

– Деда-а, – едва прошептал замёрзшими губами мальчишка.

– Федька?! – прокричал Степан Алексеевич. – Эх, верёвку бы. Матрёна, беги домой, в сенях верёвка, на гвозде висит, а я лестницу поищу.

Степан Алексеевич бросился к соседнему дому, постучал в двери. Никто не отозвался. При-

ставленная к сараю лестница оказалась короткой. Пока прилаживал лестницу, вернулась запыхавшаяся Матрёна. Степан Алексеевич сделал из верёвки петлю, опустил её в колодец.

– Федя! Надевай верёвку на себя, на пояс. И крепче держись.

– Готов? – и потянул верёвку вместе с Федей. Матрёна не знала, чем помочь. Схватила тоже за верёвку.

– Нет, нет, как только вытащу парнишку, подхвати его под руки.

Когда голова Феде показалась из колодца, Матрёна схватила его за окоченевшие руки. Потянув Федю на себя, Матрёна поскользнулась и свалилась вместе с ним в сугроб. Весёлая картина: голова Матрёны провалилась в мягкий снег. Снегом облепило ей глаза, нос, рот. Федя лежит рядом на снегу. Степан Алексеевич собирает верёвку. Не до смеха было.

Потом они все вместе бежали домой, оттирали снегом Федины руки, ноги. Матрёна поила мальчика горячим отваром из шиповника. Степан Алексеевич по случаю благополучного спасения достал из рундука кусочек сала. И на сале Матрёна испекла картофельные оладьи. Степан Алексеевич и Федя ели оладьи и хохотали над тем, как Матрёна упала в сугроб.

...Подходя к лесу, Федя увидел на снегу свежий след. Приглядевшись, понял, что это след волка, который уходил влево, на северо-восток. Значит, где-то здесь должна быть кошара. Волк, скорее всего, тоже тянулся к человеческому жилью,

а если на кошаре уцелели ещё и овцы, то зверь рассчитывал и на пропитание. В лесу, как видно, серому тоже не сладко.

Федя не сворачивал с волчьего следа, который, как он и предполагал, вывел его к кошаре.

Поднявшись на пригорок, увидел внизу, на склоне, изгородь, фруктовый сад, занесённый снегом. А ещё чуть ниже – кошару, дом чабана, хозяйские постройки, обледенелый колодезный сруб с опущенным журавлём.

Дойдя до изгороди, Федя забыл про волчий след. Последние метры он преодолел, проваливаясь в сугробы. В окнах небольшого чабанского домика было темно. Федя не решился стучать в окно. А вдруг там немцы? Он пробрался садом, перелез через ограду и подошёл к кошаре, из которой потянуло овечьим запахом. Ночная беготня и плутание по степи настолько утомили его, что он готов был свалиться в какой-нибудь тёплый угол и заснуть. Поднявшись на наметённый под самую крышу сугроб, он влез через окно в кошару и, спустившись вниз, услышал, как ветер захлопнул створку. В темноте Федя почувствовал исходившее от овец тепло. Он затаился в углу. Овцы сначала шархнулись от него. Потом молча стали жевать сено. Федя прижался к овечке и, запустив руки в её шерсть, стал согреваться. Засыпая, услышал, как залаяли собаки...

Федя спал, и ему снилась хата, еще большая, чисто выбеленная печь, сени, лестница на чердак, где, по поверью, жил домовый. На чердаке мать с отцом обычно хранили зерно, заработанное после

уборки. Туда же в зерно прятали арбузы. Достать свежий арбуз родители всегда поручали сыновьям Феде и Мише. Они залезали на потолок и запускали руки в зерно. Кто быстрее найдёт арбуз, тот и герой. Федя был на два года старше Миши, и у него получалось быстрее. Младший брат бежал к матери и со слезами на глазах рассказывал, что Федя его снова обхитрил. Мать успокаивала, разрешила арбуз, и первый ломоть давала Мише, приговаривая: «Федя, ты же большой, мог бы и уступить младшенькому». Однажды Федя резко ответил матери: «Я стал большим, как Миша родился».

Под стрехой хаты гирляндами висели сушёные яблоки, груши, заплетённые в косы лук, чеснок, нанизанный на нитку горький перец, перевязанные пучки укропа, красной калины... В хате пахло чабрецом, луговыми травами. Осенью копали картошку и складывали её в погреб, везли на подворье сено, складывали в закрома початки кукурузы, тыквы. Мать подвешивала на жердины кочаны капусты. С первыми заморозками ходили за тёрном. Его замачивали, а через месяц получался морс тёмно-синего цвета, а на вкус лучше городского лимонада. По вечерам сидели на завалинке, грызли семечки. Немцы называли наши семечки «русским шоколадом». Сейчас бы того русского шоколада!

Федя повернулся во сне. Он видел отца, мать, когда они ещё не поссорились из-за какой-то ерунды. Мать хлопотала у печи – вечно у неё что-то кипело в чугунах, запекалось в печи. По субботам мать пекла хлеб, пироги с начин-

кой из сушёных яблок и груш, вместе они лепили вареники с творогом. Отец, возвратившись с работы, плотно закусывал, шёл в сарай и что-то мастерил. На вопрос Феде: «Что он делает?», – отвечал с улыбкой: «Ярмо гусям». Но как выглядит ярмо для гусей, Федя так и не увидел. Правда, в книжке про Каштанку он видел картинку, как гуся запрягли в маленькую тележку, на которой тот катал в цирке кота и собаку. Однажды показал эту картинку отцу и спросил, а такую тележку он может сделать?» «Смогу, – ответил отец.

– Только где такого гуся взять, чтобы дал себя запрячь в неё?» Федя любил отца. Ему с ним всегда было легко и интересно. Только виделись они редко. Уходил отец на работу рано, возвращался поздно. Бывало, ждёт-ждёт Федя отца, а его всё нет и нет. Так и засыпал, не дождавшись. Особенно трудно стало, когда родители развелись. Мачеха есть мачеха. Федя так и не принял её. Наверное, отец это понимал. Говорил: «Ничего, сынок, всё будет хорошо». Но война спутала все планы.

...Сквозь сон Федя услышал, как залаяли собаки. Заскрипел засов на воротах, и в кошару, прихрамывая на левую ногу, вошёл человек с фонарём. Федя затаил дыхание. Бежать поздно. Быть может, не заметит. Человек приподнял фонарь и осветил окно. Убедившись, что оно закрыто, стал пересчитывать овец.

– Одна, две, три...

Приподнял фонарь повыше и, увидев съёжившегося в углу мальчишку, спросил:

– Ты как сюда попал?
– Через окно...
– А я услышал, как собаки залаяли, подумал, не волк ли забрался в овчарню. Идём в хату. Здесь холодно. Можно замёрзнуть.

– А немцы в хате есть?
– Немцев нет. Замело все дороги. Им эта коша-ра не по пути. Если что, они в стогах прячутся.

Чабан и Федя вышли из овчарни. Закрыли на засов ворота. Пурга не прекращалась. Вошли в дом. Только тут они рассмотрели друг друга.

– Ты Федя? А меня помнишь? Я с твоим отцом работал до войны в одной бригаде. Меня Андреем Михайловичем зовут. Можно просто: дядя Андрей.

– Я вас знаю.
– Откуда? Ну, да, от отца. От Петра Антоновича давно нет писем?

Федя покачал головой:
– Давно.
– Да и куда писать. Территория занята врагом. Ладно, как ты здесь оказался?

Федя не смог сдержать слёз и стал рассказывать, как людей с детьми согнали к конторе конезавода, а потом отобрали их у взрослых, и как староста предал Степана Алексеевича Бабыкина. Немцы убили деда, детей угнали в Бешпагир, а он сбежал. Вспомнил и мачеху, которая выставила его из хаты на мороз...

– Старается, сволочь! Всё для великой Германии! Своих продаёт. Ну, недолго ему осталось

куражиться над хуторянами, – сказал Андрей Михайлович, слушая Федин рассказ. – Это я про старосту. А с мачехой твоей отец придёт и разберётся сам.

Андрей Михайлович усадил мальчишку за стол, пододвинул ему накрытую полотенцем тарелку с ещё тёплой картошкой, постным маслом и хлебом, поставил кружку заваренного шиповника.

– Ешь.

Размазав по лицу слёзы, Федя жадно ел. И ему казалось, что ничего вкуснее не было на свете. Он впервые за сутки наелся досыта.

– Не торопись, – сказал Андрей Михайлович, жалостно глядя на голодного мальчишку. – Утром поедим чего-нибудь вкусенького. А сейчас тебе много нельзя есть.

Чабан помог мальчишке снять обувь, раздеться, умыться. Одежку они вместе застирали и положили сушиться на печь. Осмотрев старые ботинки, давно просившие каши, Андрей Михайлович вздохнул и поставил их поближе к духовке.

– Залезай на печь, на лежанку, там теплее, постарайся выспаться и ни о чём не думай.

– А вы? – спросил Федя.

– И я сейчас лягу, – ответил степняк, прислушиваясь, как за окном завывает пурга.

– Дядя Андрей, я хотел спросить.

– Спрашивай.

– А овечки откуда? Немцы же всех овец, коров, лошадей, что были в хуторе, забрали.

– Я их прятал в Свистуновой балке. Там большие заросли терновника. Вот в них я и сделал загон. А ближе к зиме прятал овец в Костенковом лесу. Ну, а когда наступили морозы, пригнал их на кошару. Самым трудным оказалось защитить отару от волков. Но со мной верные сторожа – собаки.

Федя приклонил голову к подушке и мгновенно уснул.

7

Как кто-то осторожно толкнул входную в сени дверь и как затем в хату вошли солдаты в маскировочных халатах, Федя не слышал. Он мирно спал.

– Наши, – просиял от радости Андрей Михайлович, увидев на шапках знакомые звёздочки. – А мы вас заждались.

– Командир разведгруппы старший лейтенант Никитин, – представился самый молодой из солдат.

– А меня звать-величать Андреем Михайловичем. – Он протянул руку Никитину и представился. – Курганов. Я из Овражного. Работал до войны гуртоправом.

Выяснив, что до хутора километров шесть, бойцы стали рассаживаться вокруг стола. Один из них достал из вещмешка тушёнку и хлеб.

– Андрей Михайлович, в селе Овражном немцы есть?

– Как морозы ударили, они по хатам сидят. А на одиноко стоящие в степи кошары не решаются заглядывать.

Пока бойцы разливали по кружкам настой из шиповника, Никитин уединился с Кургановым у окна. Выслушал его рассказ о том, как полгода под немцами показались колхозникам вечностью и как люди мечтали об одном, когда Красная Армия изгонит врага с родной земли. Немцы рыскали по хатам, сараям и погребам, забирали продукты, вывезли весь семенной фонд. На каждый двор наложили баснословный налог. А в хуторе одни старики да дети. В хозяйстве не осталось лошадей, всех увели, до последней.

– А весна придёт – что делать? – горевал Курганов. – Ни вспахать, ни посеять, как дальше жить?

Рассказал он и про старосту, и про полицаев, и про Федин побег.

– Смелый парень, – похвалил Никитин. – А почему вас не призвали?

– Да какой из меня вояка.

Курганов поднялся с табуретки и, прихрамывая на левую ногу, зашагал по хате:

– Это я ещё до войны с лошади слетел.

Посмотрев на часы, Никитин приказал бойцам отдыхать, а Курганова попросил разбудить мальчика.

– Жалко будить...

– Ничего, Андрей Михайлович, выбьем немцев из хутора, отоспится

Курганов подошёл к печи и, приподнявшись на цыпочки, легонько толкнул мальчишку.

– Федя, наши пришли!

– Ну, герой, – заговорил, обращаясь к Феде, офицер, – здравствуй! Немцев много в хуторе?

Федя вспомнил, что двое немцев стояли на крыльце правления конезавода. Один с пулемётом забрался на противопожарную вышку. С четырёх сторон здания правления тоже было по часовому. Ещё двое сопровождали коменданта, когда он вышел из конторы. Трое стояли возле чёрного «мерседеса». Староста крутился с полицаями около коменданта. На въезде в хутор стояли ещё двое. Когда его, дедушку Степана и бабушку Матрёну полицаи вытолкали из хаты, Федя видел также в конце улицы часовых. Остальные оцепили площадь при конторе. В хуторе, когда ребят погнали в Бешпагир, оставались два грузовика, два мотоцикла. Никитин прикинул: «В хуторе осталось не меньше взвода. Маловато нас».

– А ты молодец, – похвалил Никитин. – Наблюдательный. Из тебя настоящий разведчик получится.

– Там ещё на колёсах котёл с трубой...

– Это полевая кухня, – пояснил Никитин. – Значит, немцы собираются в Овражном ещё и позавтракать. Вот мы и устроим им завтрак.

Подойдя к столу, Никитин достал из внутреннего кармана карту. Расстелил её на столе.

– Федя, подойди. Вот Овражный. Здесь показана полевая дорога. Как думаешь, откуда незаметно можно подойти к хутору?

– Через Костенков лес.

– Провести сможешь?

– Мы с отцом ездили туда за дровами. Там есть накатанная просека.

Никитин ещё раз внимательно посмотрел на карту и уточнил с бойцами боевую задачу. Посмотрел на часы:

– До рассвета меньше часа. Пора выступать.

Разведчики стали собираться. После тёплой лежанки Феде меньше всего хотелось снова окунуться в зимнюю ночную стужу. «Ну, ничего, провою солдат до леса – и назад, к дяде Андрею».

Попрощавшись с гуртоправом, разведгруппа вышла в степь. А Курганов вернулся в дом. На столе лежал лист, оставленный командиром. Он поднес его к глазам и прочитал на бланке со знамёнами: «Я, старший лейтенант Никитин Александр Григорьевич, объявляю благодарность жителю хутора Овражный Курганову Андрею Михайловичу за оказанную помощь бойцам отдельного разведвзвода 220-го кавалерийского полка в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. А. Никитин. 18 января 1943 г.».

И когда старший лейтенант успел написать благодарность, удивился Курганов. Прочитав бумагу ещё раз, Андрей Михайлович вышел в сени, отодвинул дощечку на деревянной перегородке, где он обычно вешал рабочую одежду, вытащил из тайника коробку из-под монпансье. Открыв её, положил в неё вчетверо сложенную благодарность Никитина и спрятал коробку в тайнике.

Разведчики шли друг за другом. Кустарник и маскхалаты скрывали солдат от посторонних глаз. На Федю надели белую куртку.

– Извини, маскировочного халата нет, – улыбнулся усатый сержант. – Но зато варежки есть. Держи.

– Да ты, Федя, – поддержал Никитин, – совсем на разведчика стал похож.

У самого леса намело такие сугробы, что бойцы еле пробирались. В поле снег ещё держался пластами. Но только в лес вошли, стали проваливаться по пояс. Идти с каждым шагом становилось всё труднее и труднее.

Наконец остались позади наметённые пургой сугробы, заросли мёрзлого кустарника. Дорога шла через лес, прямо в хутор. По ней действительно давно никто не ездил.

Построившись по двое в колонну, разведчики зашагали на северо-запад. Справа и слева с деревьев свисали еловые снежные лапы. В лесу заметно было тише, чем в поле. Стояла ночная тишина, в небе появились первые проблески утреннего рассвета.

Никитин обернулся, окинул взглядом бойцов, бодро шагавших лесной дорогой. Федя, отстав шага на три, шёл следом за ним, как было приказано. А старший лейтенант сейчас подумал о том, сколько приключений выпало на этого парнишку за последние сутки. После ночного побега этот сорванец, казалось, не ощущал усталости. Он шёл в ногу наравне с разведчиками.

– Товарищ командир, – Федя догнал старшего лейтенанта и пошёл рядом. – Сейчас дорога повернёт вправо. Недалеко от поворота, слева стоит кошара. А дальше пойдёт мелкий лес, поле и кустарник. Всё время под гору. А там ещё один поворот влево. За ним – хутор.

– Мы должны застать немцев врасплох, – отозвался командир и громко приказал. – Прибавить шаг!

Разведчики свернули с дороги снова в лес. Шли по склону. Снег неглубокий, но ближе к низине он становился всё глубже и глубже. Никитин ориентировался по карте. Трёхдневная пурга замела все следы.

Глядя, как Федя уверенно шагает позади него, Никитин чувствовал, что лес скоро кончится и будет лужайка. Этот парень хорошо знает здешние места. Шесть месяцев скрывается то в зарослях терновника, то в лесу, то на кошарах, и ни разу не попался. Всегда уходил от преследователей. Вот только последняя вылазка в хутор оказалась для него чуть ли не роковой. И всё же вырвался. Никитин чувствовал, что творится сейчас у парнишки на душе. Его друзья и ровесники там, в плену у немцев. И неизвестно, что с ними.

Да, отличный парень растёт. Не по годам взрослый, и умеет всё: скакать верхом на лошади, пасти скот, косить и копнить сено, заготавливать камыш, делать саман, пилить и колоть дрова, класть печи... А самое главное в том, что этот парнишка не задавлен оккупацией. Эх, ему бы

учиться! Из него мог бы выйти первоклассный инженер или строитель. Да война перечеркнула все планы.

В предраассветной дымке завиднелась окраина леса. За клёнами, зарослями кустарника Никитин увидел крыши хат, над которыми из труб поднимался серый дым.

– Товарищ командир! Впереди немцы.

– Вижу, Федя, вижу.

Немцы собрались у походной кухни. Не торопясь, подходили к повару в белой куртке и колпаке. Он наливал в металлические стаканы, видимо, кофе, черпаком накладывал кашу в котелки.

– Ну, будет вам сейчас завтрак, – прошептал сержант Мостовой. – И гутен морген, и приятно аппетита.

Никитин, оценив обстановку, скомандовал:

– Взвод, цепью, в атаку! Огонь по фашистам!

Когда красноармейцы высыпали из леса и побежали к хутору с криками: «Ура!», – немцы в ужасе застыли. Появление русских было для них полной неожиданностью. Одни хватались за автоматы и беспорядочно, вслепую стреляли. Другие, развернувшись к лесу, попытались вступить в бой. Третьи, вырвавшись из лесной ловушки, попрыгали в кузова машин и умчались по дороге на север. Не успевшие сесть в машины немцы на своих двоих рванули по дороге вслед.

Пленных Никитин приказал допросить. Как выяснилось, немцы решили, что из лесу наступают батальон русских, а поджигатели пошли дру-

гой дорогой – на хутор Калюжный. У них задание – сжечь там сено и фураж.

– А почему в Овражном не сожгли?

Пленный кое-как объяснил, что по данным их разведки через Калюжный будут идти конники советских наступающих частей. А через Овражный ещё, возможно, пройдут остатки их кавалерийской группы.

– Не пройдут, они повернули на Калаус.

Прикинув по карте, что от Овражного до Калюжного не более двадцати километров, старший лейтенант приказал:

– Сержант Мостовой, возьмите с собой бойцов и уничтожьте поджигателей.

Солдаты собрали на поле боя брошенные фрицами автоматы, снесли трупы убитых. Самыми важными трофеями оказались немецкая полевая кухня, два мотоцикла. Оба исправные. Досталась разведчикам и повозка старосты с запряжёнными в неё лошадьми. Федя узнал повозку и лошадей Скубыри. Сам староста пытался бежать с немцами. Когда те попрыгали в грузовик, Скубыря ухватился за край борта и хотел влезть в кузов. Но один из солдат ударил старосту автоматом в плечо и сбросил его на дорогу.

9

Мостовой, посадив солдат на два мотоцикла, выполнил задачу и вернулся обратно без потерь. «Молодец», – подумал Никитин. Медлить было нельзя. Он объявил построение.

– И ты, Федор! – позвал он подростка. – Встань в строй!

Федю поместили на левый фланг. Никитин испытующе смотрел на подчиненных. Он понимал: бойцы уже более суток идут по снежной степи и надеются, что им дадут отдохнуть. После ночного перехода люди невероятно устали.

– Разведчики! – обратился к солдатам Никитин. – Ближайшую задачу, которую перед нами ставил командир полка, мы выполнили. И мы можем возвращаться в полк. Но обстоятельства вынуждают нас принять на себя дополнительные обязательства. Как стало известно, в восьми километрах севернее хутора, в соседнем селе, немцы устроили лабораторию по переливанию донорской крови. И возможно, сейчас, именно в эту минуту, они берут кровь у детей, угнанных вчера из Овражного. Эти дети – ровесники Феде. Я не приказываю, а прошу помочь спасти их. Пойдут только добровольцы.

Первым шагнул вперед сержант Мостовой, потом Батрыгин, Бигляров, следом Чернышов, Бородышко, Бугримов, Иванисов, Нестеров и Миша Бережко, недавно пришедший в разведку. Отозвались все. В последнюю минуту Никитин передумал и взял парнишку с собой. «Итак, – прикинул Никитин. – С Федей нас двенадцать».

– А теперь встанем в круг. – Никитин расстелил на планшете карту, – Федя, подойди ближе. Покажи нам ещё раз, по какой дороге вас вели в село и по какой ты сбежал от немцев...

Феде очень хотелось забежать к бабе Матроне, узнать, что с дедом Степаном. Нет, не сейчас. Разведчики, выстроившись в строй, двинулись по лесной тропинке. Вышли из хутора и направились в долину речки Горькой. До полевого стана было около пяти километров.

За Овражным, куда ни кинь взгляд, всюду лежал снег. Кое-где по руслу речки чернели заросли кустарника. Местность открытая. По дороге Никитин несколько раз уточнял маршрут. У Феде все ориентиры простые – вдоль русла речки Горькой, а у слияния с ещё одной речкой, которая, по иронии судьбы, тоже называется Горькой, надо взять левее. Ну, а там и полевой стан.

Через час пути снова повалил снег. Поднялась пурга. В такую погоду фрицы вряд ли сунутся в поле. Они скорее засядут в хатах бешпагирцев.

На подходе к полемому стану разведчики увидели стог соломы, засыпанный снегом. Но в одном месте, с подветренной стороны, явно была нора, кто-то недавно выбирал солому. Никитин поднял руку. Рассредоточившись, Бигляров и Иванисов осторожно подошли к норе в стогу.

– Эй, кто там? Выходи!

В ответ тишина. Бигляров осторожно разгрёб солому и, поднявшись во весь рост, сказал:

– Командир, посмотри.

В соломенной норе, прижавшись друг к другу, сидели два замёрзших фрица. Они были в лёгких серых шинелях, головы повязаны женскими

платками, на ногах соломенные боты. Руки в рваных тряпках.

– Возможно, они из тех, кого мы рано утром выбили из Овражного.

– Заблудились.

– Иванисов, Бигляров, заберите у фрицев оружие.

Иванисов потянул автомат за ремень и с силой вырвал его из рук фрица. Затем вырвал второй, вытащил запасные обоймы с патронами.

– Руки пристыли к металлу.

У одного из фрицев Иванисов достал из внутреннего кармана солдатскую книжку и передал Мостовому.

– Зольдат... Солдат 111-й пехотной дивизии...

– Отряд! – скомандовал Никитин. – Отставить разговоры. Сержант Мостовой, осмотреть с бойцами полевой стан и доложить.

Посторонних на полевом стане не было обнаружено. У тракторной техники и около дома бригады следов тоже не видно. Никитин, уединившись с Мостовым, ещё раз прикинули, как незаметнее атаковать донорский пункт. Он находился на северо-западном склоне Бешпагирских высот. Никакой растительности, кроме редкого кустарника. Вступать в открытый бой нельзя. У немцев в заложниках дети. Рассчитывать на помощь извне не приходится.

Ночью немцы выставят усиленную охрану. А что если начать операцию по освобождению детей с заходом солнца. Наверняка, немцы в это

время сядут за стол пить шнапс. У них, как известно, война войной, а ужин по распорядку...

10

На подходе к Бешпагирским высотам внимание Никитина привлекла каменистая гряда, выступавшая на северо-восточной окраине соснового бора. Парнишка о ней не говорил.

– Федя, – подозвал его командир. – Видишь, впереди гряду? Что за ней?

– Сразу у подножия – колодец. Из него коммунары воду брали. А чуть ниже молочная ферма была.

Старший лейтенант прикинул, что на высоте можно устроить наблюдательный пункт.

К вечеру подморозило. Проваливаться в заносы стали реже. На последнем участке бойцы поднажали. Мальчишка, отметил Никитин, ни на шаг не отставал от него. Бежал след в след, сержант Мостовой за ними. Потом – все остальные. Вот и гряда, высотой с двухэтажный дом. Обойдя её с юго-восточной стороны, разведчики разделились на две группы.

Вглядываясь в сереющее марево, расстилающееся над долиной речки Бешпагирки, Никитин отметил, что огоньков в хатах почти не видно. Кое-где мелькнёт редкий свет и исчезнет. «Занавески задёргивают», – догадался Никитин. Наблюдение за фермой, домом, хозяйственными постройками установили с двух точек.

– Товарищ командир, – прошептал Федя. – Возле дома стоит «мерседес». Это машина коменданта.

– А где же его фрицы?

– Во дворе, за домом, есть погреб. В него загоняли повозку с капустой.

Вдруг от дома, где по предположению разведчиков находился донорский пункт, отделились двое фашистов. Они шли, с автоматами наперевес, к колодцу. У каждого в руке – по пустому ведру.

– Мостовой, на валуны, – без промедления приказал старший лейтенант. – Бигляров слева, Иванисов справа, приготовьте финки.

Разведчики замерли за валунами. Мостовой взобрался на грядку.

Немцы не спеша подошли к колодцу. Одного из них Федя узнал: «Белобрысый». Тот взял ручку ворота и стал опускать ведро в колодец. Обледели и деревянный сруб, и цепь, и ведро, и оттого всё гремело. Белобрысый повернулся спиной к каменным валунам. Другой немец постоял немного рядом, и, что-то сказав белобрысому, поставил ведро и пошёл к валунам. Они были сражены отработанными и точными бросками финок. «На двоих меньше», – с ожесточением подумал Никитин.

Из ворот фермы вышел ещё один фриц в белой куртке и в белом колпаке, держа ведро, в котором белело молоко. Никитин сделал знак Иванисову и Биглярову. Немец начал закрывать дверь на запор, и минуты хватило разведчикам, чтобы в два приёма они оказались возле него.

– Хенде хох!

Фриц медленно повернулся к Иванисову, Бигляров приставил палец к губам: мол, тихо. Фриц поднял левую руку и, подгоняемый Иванисовым, пошёл с ведром к каменным валунам. Допросив фрица, который оказался поваром, Мостовой и Никитин выяснили, что в доме действительно находится донорский пункт и что здесь комендант, доктор, два шофёра и восемь охранников.

– Сейчас немцы сядут за стол, – сказал Бережко. – Товарищ старший лейтенант, разрешите я проверю.

– Пойдете втроём, Ты понесешь ведро с молоком, Нестеров и Бигляров воду из колодца. Переодевайтесь. И побыстрее, чтобы немцы не заподозрили.

Когда на Мишу Бережко надели белый колпак и белую куртку, бойцы подшучивали:

– Что, на ужин, Ганс?

– Часового снять бесшумно. И главное узнать, где ребята?

Немецкому повару связали руки и ноги, рот заткнули кляпом.

– Молчать, – прошептал Мостовой. – Швайген.

Бережко в сопровождении переодетых разведчиков направились к дому, держа немецкие автоматы на взводе. У крыльца прохаживался, стуча сапогами, часовой. Увидев вместо повара неизвестного мужчину, он выпучил глаза. Нестеров и Бигляров не растерялись. Нестеров ударом кулака сшиб немца на землю и прикончил финкой.

– Миша, держи под прицелом двери, окна. А мы быстро к погребу.

Подхватив убитого немца, Бигляров и Нестеров, оттащили его к погребу. Сбили с дверей металлический запор, негромко позвали:

– Ребята, русские! Выходите. Быстро, не бойтесь!

Внизу, в погребе зашумели. Мальчишки поднимались по ступенькам, но, увидев человека в немецкой форме, остановились.

– Поднимайтесь, и бегом за ферму!

Из-за камней Никитин видел, как мимо промчались дети. Бигляров провёл ребят за каменную гряду, и Никитин, оглядев их, тревожно спросил:

– Все?

– Женьку Саушкина немцы увели в хату.

Вернулись и бойцы.

– Товарищ командир, – доложил Нестеров, – донорский пункт здесь. Мальчишка у немцев. Лежит на донорском столе. Привязан.

– Кто ещё в лаборатории?

– Один в белом халате. Наверное, доктор. Другой, по описанию, Ригель. Шестеро немцев в столовой.

Никитин прикинул: десять разведчиков против восьмерых вооруженных фрицев. И жизнь одного мальчишки.

– Ляликов, забирайте ребят и срочно уводите в сторону Овражного.

– Федор, и ты с ними!

– Товарищ командир, а как же Женька?

– Ты меня понял? Догоняй ребят.

Никитин подождал, пока в ночной темноте скрылись Ляликов и пацаны. Выслушав разведчиков, Никитин понял, что риск велик. За время войны у него обострилось восприятие опасности. Он чувствовал её заранее, как животные – землетрясение. И вдруг возле него кто-то шлёпнулся в снег. Никитин повернул голову:

– Федя? Я же приказал...

– Товарищ командир, там мой друг!

– А теперь слушай приказ, боец. Остаёшься здесь и будешь охранять пленного немца. Приказ понятен?

– Понятен.

– Надо отвечать: так точно!

– Так точно!

Ждать на месте и носа не показывать.

11

...Миша Бережко, Бигляров и Иванисов подобрались к крыльцу. Ждали, когда кто-нибудь из немцев выйдет на улицу. Автоматы на взводе. Чернышов, Бугримов взяли под прицел окна лаборатории, Нестеров, Бородышко – столовую. Наконец дверь распахнулась. Пьяный фриц зашатался и чуть не свалился с крыльца.

– Ганс! – прокричал в морозную ночь немец. – Во ист ду? Во ист милх?

Увидев сидящих на скамейке у погреба солдат в немецкой форме, направился к ним. Всё было кончено стремительно. Бигляров стукнул фрица автоматом. Тот свалился замертво. Иванисов командовал:

– К бою!

В окно столовой полетела граната. Раздался взрыв. Двери дома распахнулись, из него стали выбегать фрицы, попадая под автоматные очереди разведчиков.

Чернышов и Бугримов запрыгнули в задымленный дом через выбитое окно. Иванисов, Бигляров, Миша Бережко вбежали туда через распахнутую дверь.. На полу корчился раненый. В лаборатории застыл дрожавший от страха немец в белом халате. Нестеров, Бородышко оставались под окном лаборатории. Никитин быстро вошёл в дом. Увидев на донорском столе тело мёртвого Жени Саушкина, Никитин приставил автомат к груди доктора.

– Кто приказал? Ригель?

Доктор молча перевёл взгляд на шкаф. Распахнув дверцы шкафа, разведчики увидели коменданта. Ригель держал пистолет на взводе. Но вдруг отбросил парабеллум и обхватил голову руками.

– Встать! – выкрикнул Никитин. – Мостовой, расстрелять эту гадину!

Тело Жени Саушкина бойцы завернули в простынь и одеяло и вынесли на улицу. Похоронили отважного юношу на окраине соснового бора под каменистой грядой. На фанерной дощечке Иванисов вывел карандашом: «Саушкин Евгений. 14 лет». Федя вытащил из кармана звёздочку, подаренную ему Курбановым, и положил её на могилу. Сняв шапки, разведчики стояли молча.

Над Бешпагиром занимался рассвет. В село входили конники 220-го кавалерийского полка. Рядом с командиром полка Селивановым ехал на лошади Курбанов. За ним старшина Ляликов.

– Отряд, становись! Смирно! Товарищ командир, – Никитин вскинул руку в приветствии, – разрешите доложить.

– Отставить, старший лейтенант, – сказал Селиванов, слезая с лошади. – Всё знаю.

Он по очереди пожал руки разведчикам:

– Молодцы!

Когда дошла очередь до Феди, протягивая ему руку, полковник сказал:

– А тебя, товарищ боец, как звать-величать?

– Фёдор Петрович Блохин.

– И тебе, дружок, – улыбнулся Селиванов, – спасибо!

Взглянув на Никитина, командир полка спросил:

– Как считаешь, старший лейтенант, достоин юный разведчик награды?

– Так точно, достоин.

– Всем стать в строй! – скомандовал полковник и, минуту подождя, объявил. – За отвагу и смелость, проявленные при освобождении подростков, за уничтожение взвода фашистов старшему лейтенанту Никитину, сержанту Мостовому, рядовым Бережко, Биглярову, Бугримову, Бородышко, Иванисову, Курбанову, Ляликову, Нестерову, Чернышову и юному разведчику Фёдору Блохину объявляю благодарность!

– Служим Советскому Союзу!

...Песчаной дорогой, что идёт по Бешпагиру, мы с Олегом Валерьевичем поднялись на гору, на южную окраину села, где стоит вышка телефонной сотовой связи. Спросили у местных ребят, как выйти к истокам Сафонова родника, и пошли тропинкой, которая вывела нас к редким соснам, заброшенному в овраге песчаному карьеру и небольшому пруду. Спустились в овраг. Под ногами чавкало, заросший луг оказался довольно сырým. Видимо, здесь, под толщей песка, и родился Сафонов родник. От пруда пошли тропинкой, по обеим сторонам которой оцетинились заросли кустарника, серебристого лоха, красной алычи.

Родник открылся неожиданно. Внизу, из заботливо устроенной в скале трубки, струилась кристально чистая вода. Мы замерли. Это был тот самый родник, где мой отец выиграл свой первый бой с фашистами.

– Куда он побежал? – спросил Олег Валерьевич, осматривая местность.

– Он бежал, чтобы родился я, мои братья и сёстры. Он бежал навстречу миру и жизни.

Я подставил ладони под струю, напился из родника, затем поднялся на пригорок, на котором стоял немецкий солдат. Посмотрел с высоты на раскинувшееся село. Светило яркое летнее солнце, в воздухе летали стрекозы, порхали бабочки. «А тогда была зима, – подумал я. – И ещё была война, память о которой не покидала его до самых последних дней жизни».

– А что было потом с вашим отцом? – спросил Олег Валерьевич.

– Весной сорок третьего он пришёл в Курсавский районный военкомат, и его направили в учебный полк. После окончания учебных курсов служил в Иране. Во время войны через Иран шла материально-техническая помощь из США. О ленд-лизе слышал? Был такой договор с американцами. Солдаты Красной Армии обеспечивали сопровождение американских грузов и техники от иранских южных морских портов до границы с Азербайджаном. Потом отец служил в Горьком, в Москве. В 1945 году его перевели в северную столицу, служил в Ленинградском военно-морском подготовительном училище. Здесь ему и вручили медаль «За оборону Кавказа», позднее «За победу над Германией», а в сорок восьмом он получил медаль «XXX лет Советской Армии и Флота». Да, а знаешь, кто был начальником нахимовского училища? Никитин.

– Тот самый?

– Нет, совпадение, но символичное. Борис Никитин, капитан I ранга, вручая моему отцу медаль «За оборону Кавказа», скажет: «Я и не знал, что в училище служит такой герой». Отец закончил службу моряком. В 1996 году Указом Президента Российской Федерации он был награждён медалью Жукова. Отец был очень счастлив, что о нём вспомнили и не забыли тот бой у Овражного.

ЭПИЛОГ

Здравствуй, брат!

Помнишь, я писал тебе о том, что меня занимало последние годы. Действительно, я написал за всю свою жизнь много такого, на что, может быть, и не надо было растрачивать столько сил. Героями моих книг были многие именитые люди страны.

Но я всю жизнь искал главного героя. А оказалось, что он был рядом. Я это понял, когда его не стало. Главный герой – наш с тобой отец. Представляешь, ему было 15 лет, 2 месяца и 14 дней, когда он выиграл свой первый бой с фашистами! Я пытался вспомнить себя в этом возрасте. Ведь у меня день рождения с его днём рождения с разницей в одни сутки. Он родился 5-го, а я – 4 ноября. Он пошёл вместе с солдатами в атаку в январе сорок третьего, а я, наверное, в таком же возрасте смотрел фильм про приключения каких-нибудь киношных героев.

В шестьдесят лет я преодолел себя и повторил весь его путь от Овражного и обратно. Я пил воду из того родника, который спас его в январе сорок третьего. Я прошёл (а отец пробежал) дорогой от родника через сосновый бор к солёному озеру. Я смотрел в небо ясным летним днём, а отца скрывала от врага ночная мгла и, наверное, он в те минуты не думал о звёздах. Я только сейчас понял, почему отец не уехал из этих мест. А, наверное, мог бы, как все, перебраться в город. Он помнил тот бой всю жизнь. Самое главное событие в его жизни, большое и неповторимое,

произошло тогда. У меня ощущение, что именно оно не покидало его все послевоенные годы, и через двадцать, и через тридцать, и через пятьдесят лет, когда он получал юбилейные медали. В Овражном стоит обелиск, и на нём фамилии солдат, погибших при его освобождении. Наш отец тоже освобождал эту землю от фашистов.

...А Костенков лес встретил меня не молчанием. Берёзы шелестели листвой. Из кустарника выполз ёжик, пошевелил носом и побежал обратно в лесную чащу. На терновнике серенькая птичка свила гнездо и положила в него такие же, как она по цвету, серенькие яички. Я видел, как над Янкульской степью поднималось марево. Степь изнывала от жары, а тогда стояли жуткие морозы.

Давай, брат, махнём на Янкуль. На опушке леса поставим палатку и встретим зарю. Признайся, когда ты последний раз видел, как встаёт и умывается красное солнышко... Я только сегодня разглядел, до чего красива здешняя степь. А в Янкуле, наверное, от карасей вода кипит.

Ты подари мне веточку мимозы
Без повода иль сокровенных дат.
Сто солнышек на ней зажечься
может,
Что весь наш дом надеждой
озарят.

Возьми с собою в радужное лето,
Когда мне снится осень без
конца.
Да ты совсем не ведаешь об этом,
Смотря в мои счастливые глаза.

Цветы твои! Их в мире нет
нежнее...
И мне ль гадать, что ждет нас
впереди?
Пройдут года. Мы, милый,
поседем.
Но веточке твоей не отцвести!

Дарует Господь луч и мрак.
Мне есть в чем пред Ним
повиниться.
Но каждый мой вздох или шаг,
Без воли Его не случится.



**Оксана
КРИС**

Поэзия



Я верую в благодать Небес,
В любовь, что приходит однажды,
Неся тот Божественный свет,
Что в сердце откроется каждому.

Да, я на судьбу не ропщу –
Мой дом и уютен, и светел.
Пусть лишь не погасит свечу
Ворвавшийся в форточку ветер!

Я помню, ты в смятенье говорил,
Что наша жизнь – туман и сновиденье.
Но как душе сейчас набраться сил,
Принять, как данность, это откровенье?
И слушать, слушать исповедь твою,
Позволив нежно рук моих касаться,
И сгоряча не выбежать во тьму,
И, вопреки всему, с тобой остаться...
Поют сегодня птицы целый день.
На занавеске тень дрожит сквозная.
И полыхает под окном сирень,
Нас ароматом к жизни пробуждая!

МИНИН, ПОЖАРСКИЙ И ТАЙНЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО ИНТЕНДАНТСТВА

Исторические связи Ставрополя с крупнейшими явлениями российской истории и культуры не всегда очевидны. Часто вспоминают о посещениях наших мест Суворовым, Пушкиным, Грибоедовым, Лермонтовым, Толстым, оставляя без внимания пусть и менее заметных, но все же по-своему ярких представителей духовного авангарда, чьи имена оказались теперь забытыми. Отдать справедливую дань памяти незаслуженно забвенным сынам Отечества – уже большое дело. А если их жизнь была освещена присутствием некой сокровенной тайны, то еще и невероятно интересное...



**Роман
НУТРИХИН**

Краеведение



Символ русского патриотизма

Каждый россиянин, даже если он никогда не бывал в Москве, прекрасно представляет себе этот эпохальный памятник, который давно стал одним из главных символов самой России. Имеется в виду бронзовый мемориал героям национально-освободительного движения против польской интервенции – Козьме Минину и князю Пожарскому, – созданный по проекту академика Ивана Мартоса. Этот памятник, на удивление органично сочетающий в себе античные, христианские и древнерусские мотивы, давно растиражирован в тысячах логотипов, открыток, календарей, сувениров и фотографий.

Когда-то бронзовые Минин и Пожарский стояли прямо посреди Красной площади – лицами к московскому Кремлю, который эти исторические персонажи на закате смутного времени освобождали от иноземных захватчиков. Советская власть памятник пощадила, но отчего-то передвинула его с прежнего места ближе к периферии – к Собору Василия Блаженного, где сей монумент стоит и поныне.

Случилось так, что теперь Козьма Минин указывает поднятой рукой туда, откуда памятник был убран большевиками. И это дало повод безвестному автору бородатого московского анекдота трактовать данный жест как безмолвную фразу: «А помнишь, князь, где мы раньше стояли?»

При том, что данный памятник известен в нашей стране практически каждому, очень

немногие знают о его связи с загадочной традицией «вольных каменщиков». Сами Минин и Пожарский масонами, конечно, не были, однако автор скульптуры – академик Мартос, – судя по всему, состоял в тайной ложе. Такой вывод сделал авторитетный историк русского масонства Николай Киселев – на основании изготовленного в 1814 году гравером Бовинэ характерного медальона с портретом Мартоса и масонской символикой.

Иван Петрович Мартос происходил из мало-российской казацкой семьи. В 1764 году был послан учиться в Академию Художеств по классу скульптуры. Блестяще окончив курс, он в качестве пенсионера Академии отправился в Рим, где перенимал опыт у таких итальянских мастеров, как Менгс и Альбачини. Вернувшись на родину, он в 1782 году стал академиком, в 1785-м – адъюнкт-профессором, в 1794-м – старшим профессором, в 1799-м – адъюнкт-ректором, в 1814-м – ректором Академии Художеств по скульптуре, а в 1831 году ему было присвоено звание заслуженного ректора.

Мартосу покровительствовал знаменитый екатерининский вельможа, масон по совместительству, Никита Панин. Великий русский скульптор изваял мраморный бюст Панина, которым украсил его роскошную гробницу в Благовещенском пантеоне Александро-Невской лавры. Кроме того, он воздвиг монумент императору-масону Александру I в Таганроге и одесский памятник военному губернатору Новороссийского края и Крыма Дюку де Ришелье, который тоже был «вольным камен-

щиком». Мартос участвовал в украшении Казанского собора на Невском проспекте, который, как известно, весьма богат масонскими символами.

Вообще, Мартос был тесно связан со многими масонами – дружескими, профессиональными и даже родственными узами. В 80–90-е годы XVIII столетия, вместе с архитектором-масоном Чарльзом Камероном, академик работал в Павловске и Царском Селе над устройством резиденций для еще одного знаменитого «вольного каменщика» – будущего государя Павла I. Вдобавок ко всему, этот выдающийся скульптор создал ряд аллегорических надгробий для родственников некоторых влиятельных масонов.

Не вызывает, однако, никаких сомнений, что самым известным творением Ивана Мартоса стал московский памятник «гражданину Минину и князю Пожарскому от благодарной России», открытый в 1818 году при военном параде в присутствии императора. За эту работу академик-ваятель получил чин действительного статского советника.

Скептически настроенный краевед может насторожиться: ну, предположим, академик Мартос был «вольным каменщиком». Но при чем же тут Ставрополь? Хочу признать, что замечание вполне резонное, а потому нам следует как можно скорее переходить, что называется, ближе к делу...

Доблестный сын академика Мартоса

Иван Петрович Мартос произвел на свет семерых детей – троих сыновей и четыре дочери, –

и каждый из них был в чем-нибудь по-своему талантлив. Старший сын Никита, подобно отцу, поступил в Академию Художеств и в качестве ее пенсионера ездил учиться в Италию и Францию. Однако нас куда больше интересует другой сын славного академика – Алексей Мартос, который жил в городе Ставрополе. «Сын знаменитого скульптора Ивана Мартоса, – сказано о нем в одном старинном биографическом очерке, – он родился в Санкт-Петербурге в 1790 году, скончался на Кавказе, в городе Ставрополе, в 1842 году августа 13 дня».

Мартос-младший не пошел по отцовским стопам – в сферу живописи, ваяния и зодчества, – а стал человеком военным. Вот как объяснял он причину такого выбора жизненного пути в своих армейских записках: «Мысль быть полезным, в самом деле, своему Отечеству и желание сражаться, и увидеть опасности внушили мне избрать класс военного состояния предпочтительнее других; выбор военной службы перетянул другие, и я, казалось мне, не ошибся в выборе сего ремесла благородства, с жаром молодости показывая себя готовым быть там, где более требовалось отваги».

Он поступил в Инженерный корпус 16-ти лет отроду. Проходил службу в Санкт-Петербурге и Киеве. В качестве военного инженера участвовал в укреплении дальних пещер Киево-Печерской лавры. В 1810 году сражался в Русско-турецкой войне, а затем в Отечественной войне 1812 года. Был произведен в штабс-капитаны с формулировкой «за храбрость».

Позднее Алексей Мартос подробно рассказал об этих боевых приключениях в своих «Записках инженерного офицера». Предупреждая их краткой нотацией, сын знаменитого скульптора извиняется перед читателем за отсутствие в своем труде литературных прикрас, каковые, по его словам, «строго не требуются от человека, возвращенного в круту военном и, следовательно, не имеющего ни случая, ни удобства и самой возможности соделаться красноречивым и приятным писателем».

Надо сказать, что Мартос-младший явно поскромничал. Его «Записки» вовсе не являются сухим изложением цепи военных событий. Они заключают в себе столько литературных красок, поэзии и философской мудрости, что их можно поставить в один ряд с лучшими российскими произведениями мемуарно-публицистического жанра. Мартос не ограничивается простым описанием батальных сцен. В его «Записках» немало ценных исторических и археологических сведений о тех местах, в которых ему пришлось побывать со своим отрядом. Книга содержит богатый массив сугубо личных переживаний и размышлений, которые делают эти военные воспоминания на удивление живыми и увлекательными.

После Русско-турецкой и Отечественной войны 1812 года Мартос-младший уже не принимал активного участия в боевых действиях. В 1816 году его родственник, Иван Романович Мартос – директор одного из департаментов Министерства Юстиции, решил поспособствовать карьерному росту молодого офицера и добился его

назначения адъютантом к самому графу Аракчееву, служившему «правой рукой» при императоре-масоне Александре I. Следует отметить, что и сам Иван Романович, столь удачно похлопотавший в Петербурге за своего родственника, тоже был вхож в масонские ложи. Пристроив Мартоса-младшего в адъютанты к Аракчееву, он по состоянию здоровья вышел в отставку и уехал на Кавказ, а его молодой родственник поспешил приступить к службе при влиятельном царедворце.

И хотя Алексей Иванович Мартос не стал ни скульптором, ни художником, как его знаменитый отец, а посвятил себя военному делу, однако в одном он все-таки пошел по родительскому пути – он тоже сделался масоном. 12 августа 1816 года Мартос-младший был посвящен в петербургской Ложе Избранного Михаила. Из-за новых обязанностей по службе посещать ложу часто он, увы, не мог и потому на протяжении всего 1817-го и части следующего года обозначался в протоколах Избранного Михаила как «отсутствующий брат». Все это время его просто не было в Петербурге, ибо как раз тогда по воле Аракчеева он создавал в Новгородской губернии военные поселения, которые, по мнению некоторых историков, явились воплощением стародавней масонской утопии.

В 1818–1819 годах Алексей Мартос, оставив службу у Аракчеева, стал посещать работы Ложи Избранного Михаила в 1-м ученическом градусе, однако потом снова отсутствовал вплоть до 1822 года, то есть до запрещения масонства

в России. К тому времени он уже жил в Сибири, где служил сперва в Енисейском губернском правлении, а после – председателем тамошнего губернского суда.

Несмотря на то, что служебные обязанности не позволяли ему участвовать в работах ложи, как следует, Мартос вовсе не имел небрежения к Ордену. Просто так складывались в его непросто судьбе различные служебные обстоятельства. В действительности, масонство составляло неотъемлемую часть его жизни. Среди «вольных каменщиков» у него были не только родственники, но и самые близкие друзья.

Например, Илья Долгорукий, вместе с которым Мартос-младший состоял адъютантом при графе Аракчееве. И по выходе в отставку он продолжал питать к Илье наипокойшие приятельские чувства. Вот что говорил он о нем в своих «Записках»: «В числе наших адъютантов я познакомился с князем Ильею Андреевичем Долгоруким, молодым, умным, благороднейшим человеком. Я горжусь, что приобрел его дружбу; горжусь ею, как наилучшим даром, мною владеемым. Князь к образованному сердцу присоединил пылкую, нежную, чувствительную душу...».

Долгорукий был посвящен в 1814 году в петербургской Ложе Соединенных Друзей (*Amis Reunis*), после чего состоял в другой столичной «мастерской» – Ложе Трех Добродетелей, – где в разное время занимал офицерские должности Ритора, Секретаря, 2-го Надзирателя и Стюарта. Добавим к этому, что он был декабристом, а Мар-

тос-младший, его хороший друг и брат по Вольнокаменническому Цеху, также сочувствовал идеям этого тайного политического течения.

Были в его жизни и другие приятели-масоны. Позже вспоминал Мартос о годах, проведенных в Киеве: «Случай познакомил меня с генералом Дмитрием Матвеевичем Бегичевым, благороднейшим и умнейшим из людей. Чувство признательности и уважения, как к нему, так и к Ивану Васильевичу Сабурову, который меня любил нежно, никогда во мне не погаснет».

Между тем речь в этом отрывке снова идет о «вольных каменщиках». Генерал Бегичев состоял в киевской Ложе Соединенных Славян. Он участвовал в ее работах, проводившихся под видом кружка «магнетических сеансов», и после 1822 года. Иван Сабуров значился в списках дрезденской Ложи Трех Мечей, однако сложно идентифицировать его с полной определенностью, поскольку в те времена было известно несколько человек с таким именем. Однако же и это еще далеко не все...

Философский кружок в Бухаресте

В дружеском окружении «вольных каменщиков» Алексей Мартос оказался и во время Русско-турецкой войны, в ходе которой его товарищи-франкмасоны создали в Бухаресте философский кружок, описанный Мартосом в «Записках инженерного офицера»:

«Я квартировал на Фокшанском въезде, на улице, называемой Поду-Могушой, у Каменного монастыря. Квартира состояла из двух небольших ком-

нат на дворе, каменные полы и железные решетки делали ее мрачною. Товарищ мой Гаврило Иванович Дунин-Барковский, человек очень странный, делил со мною жизнь мою. Он теперь покойник. Я чту его память и, не желая распространяться описанием его проказ, его пылкого, всеобъемлющего ума, его правил смешных, обыкновенных и странных, полезных и вредных, скажу, что ежели бы его философия распространилась или имела бы ту же возможность нравиться людям, как догматические софизмы мечтателя Платона, беседующего на мысе Суниуме о высоком и изящном со своими учениками, – философия, говорю, не уступающая правилам доброго Гальвеция, пылкого Мирабо: то друг мой Барковский потряс бы все умы в самом основании и, может быть, успел бы направить их к лучшей точке добра... Гавриил Иванович Барковский был совершенный богослов, искусный доктор, хороший математик, также был сведущ в древних языках. Не распространяясь рассказом о сем редком человеке, скажу, что память его мне осталась священной».

Надо сказать, что в протоколах Ложи Золотое Яблоко в Дрездене значится имя одного из графов Дуниных-Барковских, который был посвящен там 8 августа 1808 года. Однако из-за различий в написании его имени на разных языках уверенно отождествлять его как масона возможным не представляется. Зато другие сослуживцы Мартоса-младшего, также являвшиеся членами этого философского кружка в Бухаресте, совершенно определенно входили в число франкмасонов.

«В нашем обществе, – пишет Алексей Мартос, – участвовал Григорий Васильевич Бестужев, человек с большим просвещением, одаренный благородным характером и сердцем. Мы с ним всегда были неразлучны, и теперь, хотя обязанности службы разлучили нас, мы неразлучны с ним сердцами нашими». Где и когда Григорий Бестужев стал «вольным каменщиком», доподлинно не установлено. В архивах Ложи Святого Иоанна Иерусалимского (Saint Jean de Jerusalem) французского города Нанси есть документы о том, что в 1814 году он был ее членом, а в следующем 1815-м имел уже 3-й масонский градус. 5-го марта 1818 года Бестужев в качестве Мастера присоединился к Ложе Золотого Ключа к Добродетели в Симбирске, но «на заседаниях отсутствовал, так как находился при полку».

Алексей Иванович Мартос писал, что помимо Бестужева в этом кружке состояли: «барон Шульц, Рюль и князь Оболенский, молодые прекраснейшие люди, отлично служившие сию кампанию». Что до князя Оболенского, то тут трудно сказать, о ком именно идет речь. Ряд представителей этого славного рода, в том числе и участники Русско-турецкой и Отечественной войн, действительно состояли в масонских ложах.

О точном времени и месте посвящения Андрея Федоровича Рюля тоже ничего неизвестно. В 1817 году он был помощником Секретаря Ложи Рассеянного Мрака в Житомире, а в 1820–22 годах исполнял обязанности Секретаря этой ложи во время ее работ на французском языке.

Наибольший интерес среди этих молодых офицеров-философов представляет фигура Егора Васильевича Шульца. Не только потому, что он был близким другом Мартоса, но и, главным образом, из-за того, что его судьба имела тесную связь с Северным Кавказом.

Молодой барон Георг Шульц, на русской службе звавшийся Егором Васильевичем, впервые упомянут в масонских документах 23-го ноября 1817 года как посетитель Ложи Эвксинского Понта в Одессе. «Вольным каменщиком» он стал значительно раньше, но где, когда и при каких обстоятельствах – выяснить пока что не удалось. Известно, что 14-го января 1818 года он стал почетным членом упомянутой одесской «мастерской», и в том же году был «усыновлен» Ложей Иордан в Феодосии, в коей сделался Неместным Мастером, но практически сразу перестал появляться на собраниях, так как его перевели в Чечню, где молодой Шульц пал жертвой совершенно нелепой трагедии.

По этому поводу в примечании к своим «Запискам» сам Алексей Мартос указывает: «С 1818 года Шульц командовал 8-м егерским полком. Полк сей находился для обороны и произведения работ в новоучрежденной крепости Грозной, при подошве гор Кавказских, за рекою Кубанью, близ реки Сунджи. В темную ночь он хотел испытать исправность своих часовых, выехал за переднюю цепь. Егерь его окликнул, он нарочно не отвечал, егерь выстрелил и ранил его навывлет, в ляжку и кость, убивши наповал и

его верховую лошадь... Шульц с обыкновенным присутствием духа наградил значительно часового, за исправность произвел в унтер-офицеры, а сам через несколько дней в страшных конвульсиях умер от раны». Об этом горе, приключившемся в крепости Грозной с их другом и братом по Ордену, Алексею Мартосу поведал масон Григорий Бестужев – в письме, датированном 29-м сентября 1820 года.

Леденящие кровь военные треволнения

На полях ратных сражений Отечественной войны 1812 года судьба вновь свела сына академика Мартоса со многими «вольными каменщиками», коих было немало среди офицеров российской армии.

События того периода также описаны им на страницах «Записок инженерного офицера». Среди воспоминаний о той войне особое внимание обращает на себя его рассказ о посещении белорусских владений несвижских князей Радзивиллов: «Несвиж принадлежит богатому Радзивиллу. В старинном замке находится хорошая библиотека и множество других редкостей. Между ними особенно заметил египетскую мумию. Наши офицеры из шалости отрезали ей нос, и нашлось, что это была деревянная кукла, весьма искусно обклеенная и расписанная. Открытие сие произвело общий смех. Какому-нибудь шарлатану удалось обмануть богатого Радзивилла, но неизвестно, в какое время она поступила в библиотеку князя. Дед нынешнего князя был

очень набожен и даже ходил в Иерусалим; отец его любил странности, например, ездил на шести медведях в церковь, когда там было большое собрание помещиков; неожиданные гости делали большие хлопоты: лошади вдруг бесились, ломали экипажи, били их по всем улицам, и это составляло любимейшее удовольствие князя. Тогда помещики были принуждены оставаться у него, пока вычинят экипажи, и сряду несколько дней великолепнейший пир. Уверяют, что никто из гостей не мог выпить вина более князя».

Любопытства ради надо отметить, что многие представители этого славного рода принадлежали к Братству франкмасонов. В то время главой династии Радзивиллов был князь Доминик, который состоял в 4-м градусе в Ложе Счастливого Освобождения в Несвиже и был ее Обрядоначальником.

В составе наполеоновской армии Доминик Радзивилл участвовал в походе на Россию, а потому российские войска, вступив в Несвиж, заняли его замок. Нет никаких сведений о принадлежности его отца-чудака, ездившего в церковь на медведях, к числу масонов, но зато известно, что к Ордену вольных каменщиков принадлежала... его мать! Софья Радзивилл, урожденная княжна Турн де Таксис, в 1781 году была членом женской Ложи Совершенной Верности в Вильно, работавшей по системе Ордена Мопсов.

Таким образом, молодой Алексей Мартос побывал в несвижском замке масонского семейства Радзивиллов, где его бесшабашные сослуживцы умудрились совершенно варварским

способом проверить подлинность тамошней египетской мумии, оказавшейся, как мы только что узнали, искусно сделанным муляжом. Кто знает, для каких целей хранился этот псевдоегипетский артефакт в библиотеке Радзивиллов и в каких сокровенных оккультных обрядах, быть может, кем-либо из них использовался...

Но, пожалуй, самые ошеломляющие страницы в «Записках инженерного офицера» посвящены сражениям у реки Березины. «Здесь, – писал Алексей Мартос, – началась сцена ужаса, ознаменовавшая отступление французов. Солдаты их вдруг умирали от голоду не десятками, а сотнями; вся дорога была усеяна мерзлыми трупами и представляла ужасное зрелище непрерывного поля сражения. Кто не был очевидцем сих страшных происшествий, с трудом поверит описаниям, которые о том деланы будут. На большой Дорогобужской дороге, близ Болдина монастыря, найдены были трое французов, жарившие четвертого, который умер с голоду за несколько минут перед тем. Второй, еще страшней, случай был со мною: на Виленской дороге один француз, человек почтенных лет и наружности, отказался от хлеба, который я ему давал, а умаливал, чтобы я из сострадания велел убить его! Сыщите мне в истории всех веков подобные черты отчаяния рассвирепевшего человечества. Сих двух примеров достаточно, дабы иметь истинное понятие о бедствиях, постигших неприятеля».

В один из тех тревожных дней Мартос, будучи послан к атаману Платову и генералу Ермолову

за подкреплением, стал свидетелем еще более ужасающего зрелища, открывшегося его взору на Оршинской дороге: «Я поскакал туда. Ветер и мороз были престокие, все дороги замело снегом, по ближнему полю шатались толпами французы, одни кое-где разводили огонь и садились к нему, другие резали у лошадей мясо и глодали их кости, жарили их, ели сырых; скоро мне показались люди замерзлые и замерзающие. Никогда сии предметы не изгладятся из моей памяти... Я содрогнулся и продолжал ехать. Улица мертвых тел, воинов и лошадей указывала мне дорогу, которой они шли, и которой я должен был держаться. Верстах в семнадцати от Борисова я встретил генерала Ермолова, удовольствовал на все его вопросы, отдал ему приказание адмирала и по старым следам обратно возвратился к армии».

После того, как наполеоновские солдаты с огромными потерями отступили за Березину, Алексей Иванович проводил к реке своего командира, пожелавшего обозреть место их трагической переправы. Мартос-младший с нескрываемым волнением описывает то, что они там увидели: «При приезде нашем к берегу невольный ужас овладел нашими сердцами. Представьте себе широкую, извилистую реку, которая была, как только позволял видеть глаз, вся покрыта человеческими трупами; некоторые еще только начинали замерзать. Здесь было царство смерти, которая блистала во всем ее разрушении. Так, смотря на сии варварства, на сию цепеневшую природу, истинный христианин скажет: се Господь гроз-

ный во гневе Своем карает преступное человечество. Но философ невольно содрогнется при виде бедствий равных себе братий; тогда чувство сострадания перетянет все другие страсти, он воспламенится негодованием и в первом порыве своих пламенных чувств готов отвергнуть и самый Промысел... Имейте терпение читать. Первый представившийся нам предмет была женщина, провалившаяся и запертая льдом; одна рука ее отрублена и висела на жилке, другую держала она грудного младенца; малютка ручонками обвился около шеи матери; она еще была жива, она еще устремляла свои выразительные глаза на мужчину, который также провалился, но уже замерз; между ними на льду лежало еще мертвое дитя. Можно было догадаться, что замерзлый был ее муж, а эти маленькие – их дети: ибо чувства природы были сохранены до самого конца в сем состоянии. Вместе они бежали, вместе почти перешли реку; какая радость быть вместе и в роковую опасность не потерять жизни! Они касаются уже столь ими желанного берега; но неприятель, грозный, мстящий, является; ее муж и дети замерзли, а матери отрублена рука бесчеловечным солдатом. Но их уже нет на свете, они в тысячу раз счастливее многих, которых я буду видеть на каждом шагу по дороге к Вильне... Я оставил сие зрелище, которое до гроба не изгладится из моей памяти. Наши люди на Березине дрались с наивеличайшим остервенением».

Ничем не лучше было и в дальнейшем, когда российская армия начала преследовать сол-

дат Наполеона. Одна из жутких ночей 1812 года запомнилась Мартосу особенно отчетливо: «Я не помню в жизни моей столь страшного холода, как сию ночь, с 22-го на 23-е ноября; к утру холод сделался еще нестерпимее. Трескучий мороз, неизменный союзник наш, и здесь истребил сотни неприятелей... Ланжерон ужинал с нами из одного котла кипящие щи, которые в мгновение ока становились льдом. С трудом можно было говорить друг другу: густой воздух почти останавливал дыхание человека. Не описываю пространно ужаснейшей картины, которую глаз встречал на каждом шагу. Везде человек боролся со смертью, одни шатались и, опираясь о деревья, упали без чувств от холоду и голоду. Бедные французы, с отмороженными ногами, не могли ходить более; они ползали на руках, с ногами, обвитыми соломой, в отвратительных ветошках, укутанные, с черными закопченными от дыму лицами, со сверкающими глазами. На каждом шагу, на каждой тропинке встречали толпы страшилищ: они тащатся к пылающим огням, они торопятся греть свои лица, их волосы загораются. Несчастливцев не имеет в себе силы потушить огонь; скоро вся голова объемлется пламенем, волосы трещат, крик и стон страдальца увеличивают верш бедствий – и жертва оканчивает жизнь. Тотчас другой бросается на умершего, может быть, на своего брата или друга, с видом ослабляющегося удовольствия, режет мясо покойника, жарит его и поедает. Прошла минута, и тот отходит в вечность. Так сотворен человек, сия премудрей-

шая, чудесная тварь! Я всю ночь лежал в снегу, завернувшись плащом, вся кровь моя замерзла, я не мог сомкнуть глаз. Но скоро наступили новые ужасы. Снег, большими комьями идущий, потушил огни, сие последнее прибежище сражающихся. Тогда приполз ко мне один француз, измученный и едва имеющий вид равного мне существа; он прилег ко мне, я отворотился, но всюду спокойствие бежало меня. Лишь только дан сигнал сражаться, я встал. Первый предмет, представившийся мне, был мой товарищ. Он уснул сном вечным, отчаяние было означено на его выразительном лице. Но это лучше оставить. Весь лес у Молодечны устлан мертвецами. Они оставлены в добычу волкам и птицам хищным».

Все ужасы войны, которым Мартос-младший стал тогда свидетелем, совершили кардинальный переворот в душе молодого офицера, перенаправив его патриотические порывы в русло философского гуманизма. Описывая постигшую тех людей гуманитарную катастрофу, Мартос с еще большей силой стал ценить христианскую добродетель и любовь к ближнему – те человеческие ценности, всю хрупкость и непреложное значение которых показывают жуткие подробности Отечественной войны 1812 года.

**Господин статский советник,
управляющий Ставропольской
Комиссариатской Комиссией**

Вернувшись из заграничных походов, Мартос некоторое время служил в Кишиневе по воен-

но-инженерной части. Как уже было сказано, в 1816 году по протекции родственника-масона сын великого скульптора был переведен в Петербург и назначен адъютантом к Аракчееву. Тогда же Мартос-младший и стал «вольным каменщиком», вступив в столичную Ложу Избранного Михаила.

В сентябре 1821 года, после изнурительных трудов по устройству военных поселений, он по состоянию здоровья покидает пост адъютанта при графе Аракчееве и уезжает в Красноярск, где работает сперва в тамошнем Губернском Правлении. Через три года Алексей Мартос по высочайшему повелению был назначен председателем Енисейского Губернского Суда.

Богатые впечатления от службы в Красноярске Алексей Иванович Мартос описал в необычайно популярной тогда книге «Письма о Восточной Сибири». Известно, что ее читали ссыльные декабристы. Как неподкупный чиновник и милостивый судья Мартос оставил о себе самые теплые воспоминания. Потом была работа в Новгороде, Петербурге, Вильно. Наконец, в 1833 году Алексей Мартос поступил в ведомство Комиссариатского департамента, что четыре года спустя и привело его на службу и жительство в областной город Ставрополь-Кавказский.

Хотя изначально Мартос-младший сознательно не шел стезею своего великого отца – славного русского скульптора-академика, создателя московского памятника Минину и Пожарскому – и для того намеренно выбрал себе в удел армейскую службу, однако же, с годами природ-

ные гены взяли свое. Алексей Иванович не смог удержаться в стороне от «служенья Муз», от жизни в сфере изящных искусств. Начав как военный мемуарист, он сделался со временем довольно неплохим писателем и переводчиком.

Его первым крупным переводом стала «История Александра Македонского» Квинта Курция Руфа, которую он посвятил экс-канцлеру графу Румянцеву. Мартос перевел «Историю Семилетней войны» немецкого ученого Архенгольца, писал о Суворове и видных историках античности. «Я всегда думал, – говорил он, – что знание древних классических авторов, которые своими прекрасными уроками внушая любовь к Отечеству и просвещению, дух мужества и высокое стремление к добродетели, составляет главную потребность воспитания. Они суть те маяки, которые на бурном океане жизни отводят человека от нравственного крушения». Им была создана «История Малороссии», которую цензура не допустила к печати, и книга увидела свет лишь фрагментами – в журнале «Северный архив» за 1822–23 годы. Он был хорошо знаком с Гоголем. В 1821 году Мартоса-младшего избрали членом Санкт-Петербургского Вольного Общества Любителей Словесности, Наук и Художеств.

7 апреля 1837 года инженерный офицер Алексей Иванович Мартос был назначен на должность управляющего Ставропольской Комиссариатской Комиссией. Она располагалась на территории бывшей Ставропольской крепости, ставшей со временем просто грандиозным военным складом.

Комиссариатская Комиссия ведала «обмундированием, вооружением и денежным довольствием войск», осуществляла снабжение ими армейских подразделений по всему Северному Кавказу. В 20-х годах XX века Григорий Прозрителев писал о Ставропольской Комиссариатской Комиссии буквально следующее: «Складочные, вещевые магазины каменные, обращенные к собору, существовали еще во времена крепости, и в них были сделаны амбразуры, как вверху, так и внизу».

Герман Беликов тоже описывает устройство этого важного интендантского учреждения: «В 20-е годы [XIX столетия] при Комиссариатской Комиссии был возведен главный вещевого магазин. Для своего времени это было неординарное строение с двумя каменными арочными галереями. В его многочисленные складские помещения вели винтовые лестницы и грузовые подъемники... Здание это чем-то напоминало крепость внутри крепости, с бойницами с восточной стороны и охранными постами с западной. Одно из помещений «Вещевого магазина» занимала комната образцов вооружения и обмундирования, которые поставлялись сюда как военными обозами, так и купцами-подрядчиками... Особо укрепленной и охраняемой частью вещевого магазина было казначейство с денежной кладовой – рентерией, где хранился золотой и серебряный запас Кавказского войска» [4].

Вступив весной 37-го года в заведование этим солидным ставропольским учреждением, уже осенью Мартос-младший подвергся серьезному

испытанию. 14 октября этого года в Ставрополь прибыл император Николай I. Уже на следующий день он посетил «вещевой магазин» Ставропольской Комиссариатской Комиссии. Судя по всему, высочайший визит прошел на «ура». Алексей Мартос смог достойно принять государя, с лучшей стороны показать все армейское хозяйство бывшей Ставропольской крепости. Прозрителев писал, что в честь сего знаменательного события на здании комиссариата «была прибита чугунная доска в память посещения в 1837 году Николаем I». Надо полагать, что распорядился об этом, будучи начальником данного учреждения, сам Алексей Мартос.

Городу Ставрополю он отдал последние пять лет своей недолгой, но плодотворной жизни. Его дореволюционный биограф пишет о высокой оценке, которая была дана правительством его деятельности в должности главы Ставропольской Комиссариатской Комиссии:

«Неся службу ревностно и неутомимо, Алексей Иванович в 1837 году, в звании Управляющего, удостоился получить две награды: 16-го июля – орден Святого Станислава 2-ой степени за отлично-усердную и ревностную службу и неутомимые труды, засвидетельствованные Военным Министром и Комитетом Министров одобренные; и 6-го сентября – чин статского советника. И до самой смерти своей, постигшей его 13 августа 1842 года, он продолжал служить на Кавказе,

в городе Ставрополе, удостоившись в последнее пятилетие получить в награду орден Святой Анны 2-ой степени, украшенный короною (26 марта 1839 года); знак отличия за XXV лет беспорочной службы (22 августа 1841 года); чин действительного статского советника (12 сентября 1841 года). Кроме всех поименованных отличий он получил еще награды за литературные труды».

Заслуги Мартоса на посту управляющего Ставропольской Комиссариатской Комиссией были отмечены высоким классным чином действительного статского советника. Однако пользоваться благами нового состояния ему пришлось весьма недолго. В августе 1842 года он скончался в Ставрополе на 52-м году жизни, оставив после себя безутешную вдову и двоих сыновей – Вячеслава и Святослава. Место его погребения, к сожалению, всеми забыто, и найти его нам пока что не удалось.

Удивительно, что этот незаурядный человек – сын создателя памятника Минину и Пожарскому, а еще прекрасный инженерный офицер, историк, автор военных мемуаров, участник Отечественной войны, судья-бессребреник, да и просто выдающийся человек с весьма непростой судьбой – лежит теперь в ставропольской земле, никем, увы, не поминаемый и никому, по сути, неизвестный. Так пускай же сей скромный очерк послужит возобновлению доброй памяти о нем среди потомков...

Литературное Ставрополье
Альманах № 1 (2024)

Отпечатано в ООО «Славянская Типография»
Воронеж, пр-т Труда, д. 46д, помещ. 1, ком. 1

Подписано в печать 09.07.2024
Тираж 1000 экз. Заказ № 2404404